



любовный детектив

Елена АРСЕНЬЕВА

Поцелуй с дальним
прицелом



Писательница Алена Дмитриева

Елена Арсеньева

Поцелуй с дальним прицелом

«Автор»

Арсеньева Е. А.

Поцелуй с дальним прицелом / Е. А. Арсеньева — «Автор»,
— (Писательница Алена Дмитриева)

ISBN 978-5-699-23663-3

И снова Париж! И снова писательница Алена Дмитриева попала в переделку. На этот раз ее спасает... профессиональный киллер! Да, именно так представился Алене русский красавец Никита Шершнеф. А дальше... Писательница сует свой любопытный нос в его дела, узнает кое-что – и поспешно скрывается в бургундской глубинке. Но что это?! Никита тоже объявляется там. Неужели он охотится за Аленой? Тогда дни ее сочтены – ведь киллер не знает промаха. Или это всего лишь случайное совпадение: наемный убийца отслеживает кого-то другого?..

ISBN 978-5-699-23663-3

© Арсеньева Е. А.

© Автор

Содержание

Пролог	5
Франция, Париж, 80-е годы XX века.	9
Франция, Париж.	14
Франция, Париж, 80-е годы XX века.	19
Франция, Париж.	23
Франция, Париж, 80-е годы XX века.	28
Франция, Париж.	32
Франция, Париж, 80-е годы XX века.	37
Франция, Париж.	42
Франция, Париж, 80-е годы XX века.	47
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Елена Арсеньева

Поцелуй с дальним прицелом

*Каждый понимает вещи согласно своей испорченности.
Расхожая истина*

*Благими намерениями вымощена дорога в ад.
Вторая расхожая истина*

Пролог

Франция, Бургундия, Мулен-он-Тоннеруа. Наши дни

На церковной колокольне уже пробило девять, что означало семь.

Какая мистическая, какая многозначительная фраза, подумал он с едким, прощальным восхищением.

На самом деле ничего особенно многозначительного и уж тем более – мистического в этой фразе не было. Просто старые часы на старой колокольне, за которыми уже много-много лет никто не следил (да и *на* них никто практически не смотрел, потому что древняя церковь на окраине деревни была закрыта, туда не ходили – зачем? – зато звон их разносился далеко по округе, и этого было вполне достаточно, чтобы получать какое-то представление о течении времени), барахлили. Полчаса они когда отмеряли, когда нет, отчего-то не любили полночь и полдень: норовили пробить их то на пять минут раньше, то на пять минут позже, а впрочем, может быть, это и были истинные, подлинные полночь и полдень, кому же лучше *знать* такие тонкости, как не этим старым-престарым часам на старой-престарой церковной колокольне?..

А вот по утрам они вместо семи ударов нарочно били девять раз, это все в деревне знали, никто не волновался, но он слишком долго не был здесь, успел забыть о причудах часов и сейчас принужден был схватиться рукой за сердце, так оно затрепыхалось. На дурацкий миг показалось, что проспал, опоздал...

Впрочем, что это ему всего лишь показалось, он понял почти сразу, когда увидел, что солнце едва-едва поднялось над затуманенным горизонтом. В девять-то оно уже стояло гораздо выше – вернее, не стояло, а лежало во-он на той крыше, на которой черепица с одной стороны была уже красная, новая, а с другой – серо-зеленая, замшелая. В этом доме начали ремонтировать кровлю. Наверное, это хорошо, хотя ему, если честно, старая нравилась больше. Зато вряд ли она нравилась хозяину – наверное, стала протекать, черепица местами отвалилась, зияли черные дыры.

Он попытался вспомнить, чей это дом, на чью недоремонтированную крышу в девять часов утра уляжется передохнуть солнце, но так и не вспомнил. Ну да, слишком долго он здесь не был, в этой деревне, в своей родной деревне...

А впрочем, какая разница, чья это крыша? Все равно он никогда не увидит, как ее зацепит своим горячим боком солнце. Ведь в девять утра его уже не будет в живых.

Строго говоря, его не будет в живых уже в семь тридцать. Через полчаса. Так что пора идти. Он ведь хотел еще хоть немного прогуляться по саду, прежде чем... Да вот припозднился не в меру.

В это мгновение боль прильнула к нему – старая боль, словно преданная любовница. Обвила всем своим телом, так и впилась в сердце... у него даже губы помертвели. Зря он не

стал принимать утром лекарство... о боже, только бы не сейчас, только бы не загнуться от этих вонзенных в сердце когтей, которые рвут на части несчастный, мучительно трепещущий комочек... нет, он не хотел вот так, корчась, унижительно... только не так!

Смерть надо встречать достойно. Он это хорошо знал, потому что сам большую часть своей жизни только и делал, что убивал, и много раз видел людей, которые перед лицом смерти выглядели ужасно. Он всегда лелеял надежду, что, когда настанет его черед, он будет вести себя безупречно.

Отпусти, боль, в последний раз, в последний, это все, о чем он сейчас просит небеса!

Небеса сжалились, боль утихла, а потом и вовсе улеглась. Он постоял, отирая ледяной пот со лба, тяжело переводя дух. Теперь у него есть передышка самое малое на четверть часа. Надо воспользоваться этим, надо поспешить. Второго такого приступа он может и не перенести – упадет без сознания, упустит время.

Он несколько минут бестолково искал шляпу и уже встревожился, что опоздает. Отправиться на смерть без шляпы он никак не мог себе позволить...

А кстати, острое, должно быть, ощущение – пережить собственную казнь! Какая жалость, какая жалость, что потом нельзя будет с кем-нибудь обсудить свои чувства и эмоции в этот последний миг! Например, со своим палачом. Кто-кто, а он бы понял того, кого должен убить... Все-таки для них обоих чужая смерть была ремеслом.

Чужая смерть, которую он всегда наблюдал со стороны, сквозь прицел своего любимого ружья, теперь станет его смертью. И не спастись от нее, даже если сейчас сойдет с небес ангел-хранитель и накроет его какой-нибудь волшебной шапкой-невидимкой. Не спастись... Можно лишь отсрочить смерть, но зачем? Только лишние унижения испытывать, лишнюю суету разводить. Опять терпеть эту безумную боль! Если уж подписан приговор, так пусть он свершится как можно скорее.

Так умирали короли. Его тоже называли королем своего ремесла...

Одно обидно: такой острый момент в жизни – смерть, – а его толком и не обмозгуешь и уроков на будущее не извлечешь. Бессмысленно как-то устроено это событие, честное слово. Некоторые люди считают, что смерть – вообще смысл всякой жизни, человек рождается только ради того, чтобы умереть, но ведь происходит это как-то вскользь, мимолетно, и смешнее всего, что мы еще и торопим этот миг, желая умереть легко и быстро. Родиться – спешим, жить – спешим, умереть – ого, еще как... Торопливое существо – человек, торопливое, бессмысленное, несуразное! Вот и он – типичный представитель рода человеческого – редкостно несуразен. Ну надо же было сунуть эту несчастную шляпу неведомо куда!

И вдруг он увидел ее – прямо перед собой, на спинке стула. Он готов был держать пари, что минуту назад никакой шляпы здесь не было. И тем не менее она оказалась тут как тут – висела, чуть-чуть покачиваясь, как если бы кто-то ее только что повесил. Раньше прятал, а теперь взял да и повесил.

Конечно, этого никак не могло случиться, потому что в доме никого больше не было, однако у него вдруг возникло жутковатое ощущение, будто тут кто-то все же есть, и не только есть сейчас, но и останется потом, когда его, хозяина этого дома, потомка многих поколений, живших и умерших здесь, уже не будет ни в доме, ни на свете вообще. Но этот «некто», позабавившийся с его шляпой, останется – останется, будет есть за его столом, и спать в его кровати, и качаться в его старом гамаке, и готовить на его плите, и спускаться в его холодный, как могила, погреб за той же виноградной настойкой «Ратафья», которую непревзойденно готовила его кухня и которую так любил пить он...

Отчего-то это тривиальное сравнение погребя с могилой надолго заняло его внимание, поразило своей банальной точностью (впрочем, банальности всегда на диво точны, а прописные истины бесспорны, в этом их сила и в то же время слабость!), и он даже поежился, вспомнив, что сам скоро окажется в аналогичном месте. Сырость, одиночество, тоска...

Глупости. Какую тоску может ощущать тот, кто мертв и вообще ничего не ощущает? Что способна чувствовать некая бесчувственная субстанция, в которую он скоро превратится?

Тут до него наконец-то дошло, что он просто-напросто тянет время. В субстанцию превращаться отчаянно не хотелось, несмотря на то что все было давно решено. Вот он и перемешивает в голове всякую ерунду, вот и делает вид, будто не замечает шляпу, которая, конечно, висела там, куда он сам (и никто другой!) ее повесил.

А между тем на церковной колокольне уже пробило девять, что означало семь!

Он заспешил: начал спускаться на первый этаж и поскользнулся на старой лестнице с покосившимися ступенями, которые давно требовали ремонта (да здесь вообще все давно требовало ремонта, в том числе и крыша, но это уже не его проблемы... А чьи?.. Ведь после него никого не останется, никаких потомков, и родственников у него нет, он один как перст в этом мире... кому же перейдет старый дом? Наверное, никому, будет стоять да ветшать, пустой, заброшенный... обитель привидений... ну да, тут же останется тот самый *некто*, который прятал шляпу, он-то и станет исполнять роль фамильного привидения, когда уже и фамилия хозяев старого дома будет забыта...). Тут он чуть не упал – и тихонько усмехнулся: а забавно было бы сейчас сломать ногу и пропустить то, что ему предстояло...

И ему вдруг остро, страстно захотелось, чтобы так и случилось.

Чтобы не надо было идти в сад и ждать, когда...

Ну, разумеется, ничего не случилось.

Он не упал на лестнице, не сломал ногу – вышел на крыльцо и постоял немного, слушая влажную рассветную тишину. Отчего-то нынче утром было особенно тихо – таинственно тихо, затаенно тихо, можно сказать, *выжидательно тихо*, и даже птица и козы на соседнем дворе, которые, как он помнил по прошлым временам, ни свет ни заря поднимали шум и ор и мешали ему спать (особенно громко и скандално орали почему-то индюки с этими их красными бородавчатыми мешками-зобами, которые то нелепо болтались под шеями, то устрашающе надувались), молчали, словно кто-то *главный* всем им отдал приказ: проводить соседа в последний путь торжественным молчанием.

Ну вот... ну вот он и отправился в этот свой последний путь под оглушительное, до звона в ушах, молчание. Честное слово, литавры не могли бы звенеть громче, чем эта тишина! Через боковую дверь он прошел в запущенный сад и зашагал по высокой траве к огромному каштану, под которым был повешен гамак. От кого-то он слышал, будто этим летом развелось много змей, они даже в дома норовили заползти, вот смешно будет – наступить сейчас на змею, да если она еще укусит...

Не наступил. Дошел до гамака – старого, серого, с прогнившими веревками – и посмотрел на него, усмехаясь. Было дело у него в этом гамаке с одной девчонкой... давно. Неудобно заниматься любовью в гамаке, просто кошмар какой-то и сущее извращение, однако сейчас ему отчего-то показалось, будто ничего лучше в его жизни не было, чем эти торопливые движения, и колыхание между небом и землей (о, так вот что это такое, оказывается, – неземная любовь!), и возмущенное попискивание его юной возлюбленной. Волосы у нее были длинные, выющиеся, пышные, они путались в веревках, гамак раскачивался, волосы выдирались, ей было больно, но потом она обо всем забыла и вдруг закричала... так закричала, и он закричал вместе с ней... как же это ее звали... нет, не вспомнить... а может быть, и не надо вспоминать, ведь тогда он вовсе не ее имя выкрикивал, он просто выстанывал, как молитву, самое священное для него в то мгновение слово: «*Amado mia!* Любовь моя!» Его мать была испанка, испанский он знал с детства, но никогда не говорил на этом языке, а тут вдруг... ну да, это было остро, очень остро, в первый-то раз.

Какое счастье, что он это вспомнил! Он все думал, с каким словом умрет, к кому будет обращено его последнее желание, кого он позовет, чье имя выдохнет вместе со своим последним вздохом... Никого конкретно и в то же время – всех вообще, вот кого он позовет! Это

будет девочка с тонкими, выющимися волосами и в то же время та задиристая иностранка, с которой он танцевал около мэрии два дня назад, 14 июля, на праздновании Дня взятия Бастилии и впервые пожалел о том, что нельзя избежать приведения приговора в исполнение... Женщина, да, она напоминала женщину его меч ты, но – мечты неисполнившейся! И все же он позовет ее в свои последние мгновения. Вдруг она услышит и придет... пусть придет, даже если окажется уже поздно! И звон часов старой колокольни будет в этом зове, и туман, из которого восходит солнце, и даже истошные крики краснозобых, важных и глупых, неправдоподобно ярких индюков, и юркое движение ящери по нагретому солнцем камню в полдень, и суматошный перестук падающих в траву каштанов, сбитых дождем с огромного дерева у ворот, ведущих в сад... Кап-кап – говорили серые капли, стук-стук – твердили коричневые, гладенькие, глянцевитые каштаны, кап-кап, стук – стук, кап-кап, стук-стук... Эти звуки он помнил чуть ли не с рождения, он любил их, он любил девять мерных ударов часов вместо семи, любил эту встревоженную иностранку в невозможно декольтированном платье... бордовом, да, кажется, в бордовом платье в горошек... он любил ее дерзкие глаза и разлетевшиеся темно-русые кудри... он любил сейчас даже индюков, любил до смерти!..

– *Amado mia!* Любовь моя! – закричал он что было силы, сорвал шляпу и взмахнул ею, готовясь принять смерть.

И...

И ничего не осталось, кроме изумления.

Франция, Париж, 80-е годы XX века.

Из записок

Викки Ламартин-Гренгуар

Сегодня я опять встретила того человека. Нет, я не ошиблась, знаю, что не ошиблась, и это не призрак, вызванный моим воспаленным бредом, искаженным сознанием, свихнувшимся воображением... и что еще там называют старческим маразмом? Беспрестанные попытки вернуться в прошлое? Раньше я не раз слышала и читала, будто старики в основном живут прошлым, подпитываются воспоминаниями, и это казалось мне порядочной чепухой, даром что было написано в умных книжках и говорилось умными людьми. Ведь я-то отнюдь не жила прошлым, я бежала от него, с головой погружаясь в настоящее, в заботы нынешнего дня, в дела своей семьи... Господи, она такая огромная, пожалуй, можно моими детьми, внуками, правнуками заселить целую деревню – вроде Новиков, обожаемых мною в детстве. Новиков на Волге! Или, к примеру, вроде не менее обожаемого мною Мулена, который мне достался в наследство от моего второго мужа, Лорана Гренгуара, и где я доживаю свой век, лишь изредка выбираясь в Париж по особенным надобностям. К примеру, сделать прическу в салоне на улице Монторгей. Салон так и называется: «Coiffeur», то есть «Парикмахер». Я обожаю этот салон, пусть и не самый шикарный в Париже, я там причесываюсь, не соврать, лет шестьдесят, и не стану менять своих привычек только потому, что дорога из Мулена в Париж слишком долгая. Жизнь скучна и однообразна, нужно же ее хоть чем-то расцветить! Моя дочь... – забыла, кажется, Жильберта, а может, Шарлотта... точно, Шарлотта! – все время ворчит, что в Тоннеруа теперь тоже есть очень недурной салон. А в крайнем случае можно съездить и в Оксер. Но мотаться в Париж, тратить столько сил!..

Подразумевается, денег на бензин. Дескать, если сложить стоимость бензина до Парижа и обратно да прибавить ее к стоимости прически, то получается, что две-три укладки равнозначны стоимости жемчужного ожерелья, которое я никак не хочу подарить на свадьбу моей правнучке Моник.

Да, не хочу. Жемчуг – к слезам. К Моник я неплохо отношусь, именно поэтому лучше подарю ей бриллианты, хотя моя дочь считает, что они теперь не в моде. Вот чушь! Бриллианты остаются навсегда, как сказано в том чудном фильме про Джеймса Бонда.

Однако до чего же моя семья любит считать мои деньги, это что-то страшное! А какой смысл иметь их, если не можешь на них купить то, что хочешь? Если я не смогла купить на них счастье и мужчину, которого хотела, то хотя бы прическу-то могу себе позволить делать там, где хочу? Пусть мои потомки еще спасибо скажут, что я не летаю причесываться, к примеру, в Москву!

Впрочем, я не уверена, что в Москве меня причесали бы толком. Небось выдрали бы последние волосы своими деревянными гребнями! Или побрили бы наголо, перед тем как отправить на Соловки, а то и на Колыму... Что-то такое говорят, будто Колыму и Соловки большевики уже давно отменили, но я в это не верю. Обычная советская пропаганда! Ну, разве что переименовали их, назвали как-то по-другому, а сущность та же. Чека, к примеру, называли Огэпэу, потом Энкавэдэ, потом Кагэбэ – а что менялось? Ничего. Так что причесываться в Москву я все же не поеду, а буду продолжать донимать свое семейство визитами в Париж, где я и нахожусь в эту минуту, где и решила начать свои записки.

Меня никогда в жизни не тянуло к мемуарам. Не было толчка, я так понимаю.

Я одна в доме. Как хорошо... как хорошо быть одной! Обычно вокруг крутится слишком много народу.

Очень может быть, что если бы все мое многолюдное семейство и впрямь поселилось в Мулене, вытеснив оттуда всех прочих жителей, то я со временем окончательно запуталась бы в своих потомках, забыла, кто от кого произошел, кто чья дочь и кто чей сын (внук, правнук), и с некоторыми из них раскланивалась бы с той же надменной церемонностью, с какой тамап некогда здоровалась с посторонними. Со знакомыми она бывала даже приветлива:

– Как здоровье вашей милой *grand'mère*? Ах, какая жалость, какая жалость, что она уже не встает... Такая прелестная старушка! Ну что поделаешь, так сулил Господь, все мы там будем!

Этим словам сопутствовало непременно поджимание губок, этакое особенное поджимание, которое означало: *вы*, голубушка, может, *там* и в самом деле окажетесь, то есть наверняка окажетесь, с вашей-то больной печенью, но *я* – о нет, *никогда*! Уж кого-кого, а *меня-то* непременно минует чаша сия! Потому что *вы* – это *вы*, а *я* – это *я*, Вера Анатольевна Ховрина, супруга директора Сормовского завода Виктора Ивановича Ховрина и мать его очаровательных дочерей Виктории и Валерии! Всякая горькая чаша меня непременно минует, поскольку я из тех избранных счастливиц, любимиц Фортуны, которые жизнь не проживут, а пройдут по коврам дорожкам, если не под звуки торжественного полонеза (да и утомительно оно, беспрестанно выступать церемониальным шагом!), то уж кружась в дивном вальсе Грибоедова – всенепременно.

Это был любимый вальс тамап...

Ну что можно теперь сказать? Только то, что тамап ошибалась. Вальс Грибоедова отзвучал в ее судьбе очень быстро. Довелось ей испытать самую горькую для нее чашу: пережить измену обожаемого мужа. В глубине души я убеждена: нищета или даже разорение, болезнь или преждевременная смерть кого-то из нас, детей, хоть и стали бы для нее горчайшим горем, но не произвели бы настолько разрушительного воздействия, как внезапная, безрассудная, шальная влюбленность отца в *ту женщину*, как его уход из семьи, развод, скандалы, позор, который обрушился на нас всех, прежде всего – на мать... да, очень странно, конечно, но почему-то именно на нее, а не на отца смотрели знакомые с презрительной жалостью и как бы даже с осуждением.

В те времена в нашем кругу о разводе знали больше понаслышке, однако в обществе он уже не мог никого особенно шокировать. Шок состоял в личности «разлучницы», «соперницы». Весь ужас положения тамап заключался в том, что отец ушел от нее не к молоденькой хорошенькой девушке или вдовушке, а к женщине старше его, одинокой, странной, поведения загадочного, а по меркам тамап, и вообще полусумасшедшей... Она была поэтесса (впрочем, я в жизни никогда не видела ни одной ее книжки, а стихотворение прочла всего лишь одно, да и то совершенно случайно!). В самом этом слове «поэтесса» было, с точки зрения моей тамап, что-то особенно позорное, унижительное, распутное, порочное – и в то же время манящее. Уже одним этим словом все было сказано, чтобы объяснить необъяснимый поступок отца, однако та женщина вдобавок ко всему была еще и очень красива и привлекательна, несмотря на свои преклонные года...

Тогда ей было сорок.

Я пережила эти ее «преклонные года» ровно сорок пять лет назад. Теперь мне восемьдесят пять... и вот этот-то возраст можно назвать *преклонным* без всякой натяжки: я порою так и ощущаю, как меня *клонит* к земле... а в сорок-то чувствовала себя просто девочкой. Но тамап в пору отцовских безумств и чудачеств исполнилось всего лишь двадцать шесть. Ее можно понять, можно простить даже те упреки, которые она выкрикивала, выплакивала в лицо отцу, променявшему ее на *старуху*!

Она забывала, что разница между тридцатипятилетним отцом и той женщиной была не слишком-то и велика: пять лет. Просто чепуха, особенно по современным меркам. А что каса-

ется *старухи*, то потом у нее были любовники и на десять, и на двадцать, и на двадцать пять лет моложе ее. Кстати сказать, в объятиях одного из них она и испустила последний вздох...

Перечла я эту фразу и нашла, что она звучит безумно фривольно...

Да, уж такая это была женщина! Любила она мужчин, счету им не знала.

Одному из ее любовников я и обязана спасением собственной жизни. Безусловно, если бы не всепоглощающая любовь к *ней*, он вряд ли ввязался бы в ту кошмарную авантюру в 19-м году, вряд ли перевел бы меня из Петрограда в Финляндию по едва окрепшему льду Финского залива.

До сих пор у меня сводит судорогой лицо, стоит лишь подумать о том, что мне тогда пришлось пережить, испытать. Но еще больше мучают воспоминания о том, чего я так и *не* пережила, чего так и *не* испытала, мечты о том, чего мне так хотелось, но что так и не сбылось.

Это именно его, того мужчину, я встретила сегодня. Неудивительно, что он мог показаться мне призраком прошлого! Ведь он возник именно из тех далеких дней, когда один за другим рухнули все столпы, на которых держался мой мир: уход отца, смерть матери, спокойная, достаточная жизнь, крушение России...

Моя бедная *мама*! Та история превратила ее в самую настоящую старуху... да что там, та история и свела ее прежде времени в могилу. Впрочем, говорят, все, что ни делается, делается к лучшему, – то же можно сказать и о *мама*. Она рано умерла, но зато ей не пришлось пережить те ужасы, которым была подвергнута Россия и все мы: сначала Первой мировой войной, а потом революцией и большевиками.

Не уверена, что все это пережили бы я и мой отец, что мы вообще выжили бы, если бы не *она*, та женщина, самое имя которой было когда-то запретным в нашей семье, и даже сейчас мне не хочется повторять его...

Кстати, о чем бишь я? Помнится, начала писать о том, что мое не в меру расплодившееся и довольно-таки бестолковое семейство вполне могло населить целую деревеньку... Ах да, еще про церемонность я писала, с какой общалась со своими потомками... Конечно, это объяснимо, ведь с кем-то из них я ближе, кого-то едва знаю, кого-то люблю (насколько я вообще способна любить), к кому-то совершенно равнодушна (это мое обычное отношение к людям)... Наверное, прамаменька Ева, оказавшись у нее такая возможность, столь же безучастно взидала бы на свое многочисленное потомство, которое расплодилось по всей матушке-Земле...

Между прочим, вот эти накорябанные мною словеса – самое верное доказательство того, что разум мой и впрямь не в ладах с намерениями, а упомянутый в самом начале маразм – он уже где-то неподалеку. Я ведь хотела написать о вполне конкретной, хоть и мимолетной встрече с одним человеком, который сыграл в моей жизни и жизни моего отца как спасительную, так и губительную роль, – а вместо этого забрела в непролазные дебри воспоминаний... Да, правы те, кто уверяет: старики (ну будет, будет корчить из себя невесту что, старуха я, в самом деле – старуха!) гораздо охотнее живут в прошлом, чем в настоящем, а о будущем вовсе предпочитают не думать.

Ну это, кстати, понятно. Какой смысл о нем думать? Все равно ты его не увидишь. Именно поэтому старухи не любят покупать новых вещей: зачем зря тратить деньги, все равно ведь не успеешь износить того или этого платья...

Боже, как я любила, как обожала те первые платья из набивного цветастого ситца, которые стали носить в Париже в 1929 году! Их придумал Пату, наводнил ими магазины *prêt-à-porter*,¹ и они заставили крепко призадуматься мастеров *haute couture*,² даже Коко Шанель! Именно тогда массовый пошив стал восприниматься как серьезное явление в мире моды. А я накупила их себе множество: у меня была прелестная фигура, со времени моей работы мане-

¹ Готового платья (фр.).

² Высокой моды (фр.).

кеном я ни чуточки не раздалась, хоть к тому времени родила уже троих детей: сына от первого мужа, Робера Ламартина, и двух дочерей от второго, Жака Гренгуара.

Теперь-то обоих моих мужей нет в живых, а дочери – совершенные старухи. Вспоминаю себя в их годы – нет, я выглядела куда лучше, да и душой была моложе!

Та-ак... опять корабль моего разума понесся по волнам памяти без руля и без ветрил! Чьи это стихи... какого-то испанца, латиноса, кубинца... по волнам моей памяти... Не помню!

Да и бог с ним, с латиносом или кубинцем.

Итак, сегодня я опять встретила того человека. Последний раз видела его, не соврать, лет двадцать тому назад, и тоже случайно, мельком, из окна авто. Разумеется, я не остановилась, но разглядеть его успела. Еще тогда я поразились, насколько мало он изменился... а сегодня я обнаружила, что, как это ни странно, он вообще не изменился за всю свою жизнь. А теперь, в свои восемьдесят девять (он старше меня на четыре года), он и вовсе ничем не отличается от того юноши, который в декабре 1919 года пришел в мою петроградскую квартиру и сказал:

– Меня послал ваш отец, чтобы я спас вашу жизнь, но вы должны знать: если бы не... – тут он назвал имя *той женщины*, – я и пальцем не шевельнул бы ради вас!

Почему он сказал так? Ну, наверное, его оскорбляло, что в нашей семье ее имя смешано с грязью, наверное, он хотел унижить меня – одну из тех, кто унижал ее, бывшую счастьем (а заодно и несчастьем!) всей его жизни. Потом я узнала, что он нес ее имя как знамя... нет, это слишком высокопарное и какое-то ужасно советское сравнение. Так могли бы выразиться какие-нибудь большевизаны. Правильнее будет сказать, что он нес ее имя, словно рыцарь – ленту, подаренную ему на турнире прекрасной дамой.

В ее честь он совершал многие подвиги: он спасал людей, уводил их из России. А также совершал деяния, которые трудно назвать подвигами. В ее честь он убивал... Мне это точно известно. Я знала многих из тех, кого он убил, начиная с того бесконечно мерзкого матроса, который попался нам близ Кронштадта... Да ведь и ее саму он тоже убил – и все так же – в ее честь!

О Господи. Я опять сбилась с пути моих мыслей. Я начала писать о том, что он по-прежнему юношески строен, походка его легка и порывиста. Собственно, я узнала его именно по этой походке: он не идет, а летит, даже как будто взмывает над землей при каждом шаге. Правда, меня удивило, что у него больше нет седины. Боже, подумала я, неужели он покрасил волосы?! Какая пошлость – мужчина с крашеными волосами!

Я велела шоферу обогнать его и подождать у перекрестка, а сама высунулась из окошка и уставилась на него, и не отводила взора все время, пока он шел мимо.

Он меня не заметил. А если и заметил, то не узнал.

Надо думать! Восьмидесятипятилетняя женщина так же напоминает двадцатилетнюю, как... Думаю, не стоит ломать голову над поиском сравнений, потому что никаких сравнений тут вообще невозможно подобрать. Правда, зрение у меня осталось очень острым, я спокойно обхожусь без очков, поэтому убеждена: он не покрасил волосы, это был тот же натуральный, удивительный темно-русый цвет. И он помолодел, удивительно помолодел, как если бы испил некоего напитка вечной молодости (может быть, завещанного ему Анной)! Худое лицо свежо и молодо, яркие серые глаза сияют как раньше... совершенно как раньше, то есть в то время, когда он разбил мне сердце. Я думала, оно никогда не заживет, думала, что никогда не соберу осколков... но ничего, я ухаживала эту рану, склеила осколки... вот только кто-нибудь объяснил бы мне, зачем, ради чего я это сделала? Неужели только ради того, что наплодить такое множество народу, которое могло бы заселить мой обожаемый Мулен и превратить это место, чудеснейшее, тишайшее место на свете, в «классный городишко», как выражаются они, мои внуки и правнуки...

Иногда я ненавижу своих потомков. Думаю, они тоже ненавидят меня – старую рухлядь (эти словечки тоже из их вокабулярия!), которая зажилась на свете и никак не подпускает их

к счастью. Счастье – это те восемнадцать миллионов франков, или три миллиона долларов, которые достались мне от моего первого мужа и которые течение времени только приумножило. Эти деньги составляют мою собственность, и после моей смерти их унаследует вся эта свора. Кто бы только знал, что на этом свете, где мне совершенно нечего делать и где ничто не представляет для меня интереса (строго говоря, для меня даже самая жизнь не представляет никакого интереса с той новогодней ночи 1920 года, когда он отверг меня, когда сказал, что я не нужна ему!), меня держит только яростное нежелание доставить удовольствие моей семье. Вся эта орава с нетерпением ждет моей смерти...

Где-то совсем недавно я прочла такую фразу: «Тот, кто завещает свое имущество врачу, недолго проживет». Я здорово посмеялась. Наверное, мне следовало бы опасаться своих потомков, ведь среди них, особенно среди внуков, есть сущие мизерабли... да и меж особей женского пола встречаются, как выразилась бы одна из моих русских полузабытых нянек, *настоящие оторвы*. Знали бы они, дурачки и дурочки, что я только благословила бы ту руку, которая прекратит мои земные мучения! Но никто из них так и не решился сделать роковой шаг и приблизиться к богатству, отодвинув единственную преграду, которая стоит на пути, – меня. А впрочем, думаю, это истекает не из недостатка решимости или жестокости, не из любви ко мне (ха-ха!), а просто из трезвого расчета. Ведь, пока я жива, сумма сохраняется в целостности и на капитал начисляется солидный процент, а после моей смерти он будет раздроблен, так что каждый лишний день моей жизни увеличивает личное достояние каждого из этих оборотов.

Еще вчера я была уверена, что мои потомки еще годика два-три поскрипят зубами от злости на меня, но сегодня произошла эта встреча. И это значит только одно: час мой вот-вот пробьет. Срок мой иссякнет, нить моей жизни будет перерезана. Это сделает он...

Если когда-то кому-то попадут в руки мои записки, ему придется здорово поломать голову, прежде чем он хоть что-то в них поймет... А почему я вообще уверена, что кто-нибудь прочтет мои записки? Ведь я пишу по-русски! Никто из моих потомков не знает этого языка. Ни у кого из них не было желания знать хоть слово по-русски, а я не пыталась это желание пробудить. Зачем? Чужая, давно ушедшая жизнь, этаким бытовой и этнографический плюсквам-перфект. Теперешняя Россия – только название. Той страны давно нет. Одну из моих внучек зовут так же, как меня: Викки. Но смешно думать, будто между мной и этим младенцем есть хоть какое-то сходство. А впрочем... кто знает! Время покажет.

Время, которого у меня нет, потому что я сегодня видела свою смерть.

Конечно, каких бы словес я тут ни накрутила, я еще не выжила из ума настолько, чтобы верить, будто встретила именно того человека, которого знала когда-то и любила всю жизнь. Молодость невозвратима, и даже его не пощадило время, как оно не щадит никого. Может быть, его вообще уже нет в живых. Сегодня я встретила его призрак, вот что. Баунти... кажется, так его называют суеверные англичане. Призрак, который предвещает смерть.

В данном случае – мою смерть.

Правда, вот что мне очень странно: разве призраки носят джинсы и черные кожаные куртки? И разве призраки живут в реальных домах по адресу рю де Фобур-Монмартр, тридцать четыре, куда они попадают отнюдь не сквозь стену, а через вполне материальную дверь с кодовым замком и с табличкой: «Nikita A. Cherchneff. Advocat».

Когда-то, давным-давно, и я входила в эту дверь!..

Франция, Париж. Наши дни

Похоже, назревал международный скандал.

Негритянка была какая-то слишком уж большая... Алёна и сама-то барышня выросла не маленькая: и ростом взяла, и весом (хотя за последние годы от его излишков удалось избавиться путем постоянных и, не побоимся этого слова, титанических усилий), и вообще – у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока...

Так ведь это на буржуев! А негритянка была отнюдь не буржуйкой, а типичной бебиситтер, каких в Париже, да и во всем цивилизованном мире хоть пруд пруди. Бебиситтер – это тот, кто сидит с бебиком, с ребенком, а попросту говоря – нянька. Некоторое представление о няньках-негритянках Алёна имела – ну как же, еще в детстве чуть ли не наизусть знала «Убить пересмешника», а потом «Унесенные ветром» стали одной из любимейших ее книг, – но никакой параллели невозможно было провести между Кэлпурнией, Мамушкой – и этой черной фурией.

Ох и черная же она была!.. Алёна даже растерялась, увидев столь близко так много разъяренной черноты.

Кожа у негритянки была гладкая-прегладкая, глаза в очень белых белках казались не черными, не карими, а густо-лиловыми, губы оказались почему-то серые – то ли от злости, то ли от холода. Между прочим, начало июля не в самом северном на свете городе Париже выдалось ветреным, дождливым, прохладным, в пределах от пятнадцати до двадцати градусов, никак не выше, поэтому теплолюбивая африканка надела кожаное платье темно-шоколадного цвета, чудилось, сделанное из кожи другой негритянки, небось тоже не угодившей этой фурии и растерзанной, а может быть, даже и съеденной ею... А недалёковидная барышня, явившаяся из страны русских морозов, тряслась в своих коротких бриджах, эфемерных шлепанцах и топике, на который она, выходя из дому, все же догадалась набросить ажурную белую кофточку. Ничего более теплого у нее с собой просто не было (куртку забыла, растяпа!), а попросить кофту потеплей у приютившей ее в Париже знакомой она постеснялась.

Алёна так озябла, что даже губы у нее не шевелились: к ним словно примерзла неуверенная полуулыбка, а негритянка наверняка думала, что Алёна над ней насмехается, а потому подавала жару. Она бранилась без остановки несколько минут, потом умолкла – видимо, чтобы перевести дух, – и Алёне удалось-таки вклинить в эту паузу жалкую попытку оправдания:

– Жё не компран па! Мадам, жё не компран па! Я не понимаю!

– Компран па, компран па! – передразнила негритянка, а потом повернулась к Алёне спиной, выставила свой и без того довольно-таки оттопыренный зад и сильно похлопала себя по нему, причем удары по туго обтянутой шоколадной кожей попе выходили какими-то очень уж хлесткими, даже звонкими, а когда Алёна увидела, что ладонь черной руки бледно-телесного цвета и таковы же пятки над толстой платформой шлепанцев, ее даже затошнило от отвращения.

Да что же это делается, товарищи и господа? Не определяется ли данная ситуация расхожим выражением: «За что боролись, на то и напоролись»?! Алёна росла еще в то время, когда существовали на свете пионерская и комсомольская организации, и юные, не побоимся этого слова, ленинцы свято верили, что черная рабоче-крестьянская Африка громко стонет под игом проклятых империалистов-рабовладельцев, а черные поденщики в городах гнивающей Европы влачат жалкое существование, не смеют подать голос протеста, ибо рискуют лишиться всяких средств к жизни... Почему-то именно это жалостное словосочетание – средства к

жизни – прошибало пионерку, а потом и комсомолку Лену Володину (так звали нашу героиню в незапамятном девичестве) слезой горячей братской солидарности с угнетенным африканским народонаселением. И что же происходит в дальнейшем? Приезжает в город Париж русская писательница-детективщица Алёна Дмитриева (это псевдоним, однако наша героиня настолько к нему привыкла, что предпочитает его мирскому имени Елена Ярушкина, тем паче что человек, давший ей эту фамилию, Михаил Ярушкин, вот уже два с половиной года как перешел в разряд бывших мужей и канул в Лету), приезжает, стало быть, по приглашению своей давней знакомой Марины, которая вышла замуж за француза и даже родила русско-французскую хорошенькую девочку Лизочку; идет, желая помочь приболевшей Марине, с этой самой Лизочкой погулять в ближайший скверик, сажает ребенка в песочницу – и нарывается в этой песочнице на международный скандал. И ведь смешно сказать, из-за чего сыр-бор разгорелся?!

– Алёна, – говорила Марина, напутствуя гостью перед походом в песочницу, – вы там, пожалуйста, присмотрите, чтобы никто у Лизочки игрушки не отбирал. Этот скверик очень хороший, но слишком уж демократический. Тут рядом с нами, буквально через квартал, начинается не слишком-то хороший район, там в основном живут негры и арабы, а если белые, то довольно бедные, ну и бебиситтеры у них тоже цветные. Игрушек у таких детей не слишком-то много, поэтому они у белых ребятешек то и дело норовят что-нибудь стащить. И потом концов не найдешь, никогда не докажешь, что, к примеру, твою лопатку или ведро сперли. Тем паче у вас вроде бы не очень хороший французский?

Марина – существо прелестное и безмерно деликатное. Сказать, что французский писательницы Алёны Дмитриевой – не очень хороший, это значит сделать и ей, и ее французскому просто-таки грандиозный комплимент. Если выразить свою мысль Алёна еще как-то способна, то что-нибудь понять в слитном потоке французской речи практически не в силах.

У французов есть такое языковое явление: слияние. Поэтому этот язык и звучит, как песня. Но иностранцу с этой песней просто беда: французский на слух не выучишь, надо непременно знать, как слово пишется, чтобы его не только слышать, но и как бы видеть, потому что у этого слова на конце может быть буква, которая в одном случае звучит, а в другом нет... Словом, караул. Правда, французы, которые изучают русский, уверяют, что с нашими падежами и скачками ударений не сравнится ни один язык в мире, но Алёне от этого ничуть не легче в данном конкретном случае, когда на нее, с ее убогим французским, обрушилась разъяренная и многословная негритянка!

Но вернемся к истокам международного конфликта. Алёна без приключений довезла Лизочку до скверика Монтолон, свернув не туда всего трижды (для рассеянной писательницы это абсолютный рекорд точности прохождения по абрису), высадила русско-французского бебика из коляски в просторную песочницу, выгрузила туда же ведро, совок, лопату, грабли и две формочки – и опустилась поблизости на лавочку, наслаждаясь сознанием того, что она вновь очутилась в прекрасном городе Париже и впереди у нее еще десять дней счастья. А послезавтра ее хозяева на недельку уезжают в Бургундию, в какую-то деревню, погостить у знакомых, так что она вообще останется одна в их роскошной квартире и будет наслаждаться вольсью. Сама себе хозяйка в Париже – ну не чудо ли?!

Однако блаженство длилось недолго. Марина знала, о чем предупреждала! Не успела Лизочка испечь первый песочный куличик, как на нее налетели три местных разбойника: белая девочка, стриженная в скобку (некоторое время Алёна была убеждена, что это мальчик, потом все же догадалась, что слово «сарай», то и дело выкрикиваемое нянькой-арабкой, не что иное, как имя Сара, произнесенное на французский манер – с ударением на последнем слоге), хорошенький мулатик с лукавыми глазками, улыбчивый и жуликоватый, что твой Остап Бендер, и долговязая тощенькая негритяночка – явно выросшая из песочного возраста, лет уже десяти, с множеством смешных коротеньких косичек на макушке. Это была явная атаманша, которая

перемониться с белым меньшинством не собиралась: она мигом отняла у Лизочки все формочки, ведро и лопату, предоставив Сарб и мулатику драться из-за оставшегося совочка.

Лизочка несколько мгновений ошеломленно наблюдала за этим безобразием, а потом отчаянно зарыдала, роняя крупные слезы в сухой песок, который их мгновенно впитывал.

Алёна, приторно улыбаясь, мягко вынула из грязных ручек Сарб совочек, а потом отняла у атаманши остальные Лизины игрушки. Испекла три песочных куличика, сделала улитку и морскую звезду, построила башенку, на которую Лизочка с удовольствием села, утешила таким образом ребенка – и вновь заняла позицию наблюдателя.

Сарб и мулатик немедленно признали право сильного и больше к Лизочке не лезли. Но атаманша нипочем не желала униматься. Трижды Алёна все с той же приклеенной улыбкой отбирала у нее то совок с формочкой, то лопату с ведром, то ведро с совком, а на четвертый не выдержала: улыбаться перестала и легонько, ну ей-богу легонько, буквально едва коснувшись, шлепнула девчонку по попе. Та почесалась, извернувшись, как обезьянка, и принялась отнимать игрушки у другой какой-то крохи.

Прошло около четверти часа полного и умирительного спокойствия. Алёна строила планы пребывания в Париже и любовалась светловолосой Лизочкой, трогательную мордашку которой портил только синяк на щеке. Синяк возник позавчера, после Алёниного появления в квартире Марины, когда хозяйка отвлеклась на нижегородские подарочки. Подарков было немало: водка, икра, обожаемые Мариной конфеты Сормовской кондитерской фабрики, кедровые орешки, курага, книжки – в том числе принадлежащие перу самой Алёны Дмитриевой...

Лизочка в это время занялась розовой плюшевой кошкой, тоже прибывшей из Нижнего Новгорода. Таких потрясающих кошек нет больше нигде в мире! Они продаются в магазине «Художественные промыслы» на улице Большой Покровской и называются «би-ба-бо». Вот уж где смесь французского с нижегородским... Они надеваются на руку, как в кукольном театре. Сами кошки интенсивно-розовые, глазки у них зелененькие, носики черненькие, ушки торчком, а на одном ушке привязан большой зеленый бант. Оторваться невозможно!

Лизочка, не отрывая от кошки восхищенного взора и приговаривая: «О-ля-ля!» (ну как тут не удивиться вместе со сподвижником Петра Головиным тому, что в Париже все, даже маленькие дети, говорят по-французски!), потопала по комнате, запнулась за ковер, покачнулась и упала ужасно неудачно: щекой на угол собственного стульчика. Крику было... Нежная щека моментально распухла, и на ней выступил изрядный синяк. Сегодня опухоль спала, но синяк приобрел еще более синий оттенок, так что вид у Лизочки был хулиганский.

Марина, отирая дочкины слезки, рассказала Алёне историю про свою подругу – тоже русскую парижанку, – которая привела на ежемесячный осмотр к врачу двухлетнего сына, накануне налетевшего на дверь и получившего устрашающий кровоподтек на лбу. Врач долго и придирчиво расспрашивал мамочку, что такое приключилось с ее ребеночком. Она от смущения отвечала сбивчиво, врач не поверил, что это не она сама в сердцах огрела сына поварешкой или, к примеру, каминными щипцами. И вызвал полицию! Насилу бедная мама отбилась от обвинения в жестоком обращении с собственным ребенком: во всяком случае, им с мужем пришлось со всех жильцов собирать свидетельства для суда о своем благонравном поведении, и их соседка с нижнего этажа, которая всегда ворчала, что ребенок слишком громко топает, вволю покуражилась над несчастными родителями, прежде чем удостоверила-таки их благонадежность. А дело, между прочим, грозило весьма крупным штрафом, а то и чем похуже...

«Совсем одурели, капиталисты проклятые», – думала Алёна, вспоминая тот рассказ.

Довспоминать она не успела. Из толпы цветных и черных бебиситтер, занявших все скамейки в тени и оберегавших жареные африканские рожи от блеклого парижского солнца, вырвалась черная фурия в шоколадной коже и без предупреждения обрушилась на Алёну!

Не скоро ошеломленной писательнице удалось понять, что взрыв возмущения вызван тем безобидным шлепком, который Алёна отвесила маленькой атаманше. Девчонка наябедни-

чала няньке, та вступилась... но почему не сразу, если на то пошло? Неужели в Африке долго доходит не только до жирафов, но и до коренного населения?

Сначала Алёна пыталась бормотать: «Жё не компран па!» – и примирительно улыбаться. Однако постепенно эти базарные крики ей надоели.

Какого, в самом деле, черта?! Почему эта черномазая орет на нее, как на соседку по коммунальному вивау, или что у них там за жилье, в этой самой Африке?! Очень захотелось ответить ей соответственно, однако Алёна выяснения отношений органически не выносила! Поэтому она только сказала очень вежливо:

– Мув ёр эс! – что в переводе с английского означает: «Убери свою попу!» Конечно, лучше бы было выразить это пожелание по-французски, однако слово «фэс», то есть «попа», Алёна-то знала, а вот с глаголами, как всегда, вышла напряженка. Поэтому и пришлось воспользоваться английской фразой, запавшей в память после просмотра замечательного фильма «Моя прекрасная леди» с Одри Хепбёрн в главной роли.

Впрочем, негритянка уже перестала нахлестывать себя по заду и отошла, презрительно оглядев на прощанье не только Алёну, но и Лизочку. А заметив синяк на младенческой щечке, кинула на Алёну такой уничтожающий взгляд, что той стало стыдно. Как-никак она тоже имела отношение к этому синяку.

«Можно подумать, ваши дети никогда не падали, не ударялись и ничего себе не набивали! – угрюмо думала она, исподтишка поглядывая на стаю негритянских нянек. – Ишь, раскудахтались, черные курицы!»

Интенсивный кудах-тах-тах и в самом деле имел место быть. Видимо, речь шла о том, какие никудышные родительницы – эти белые. А может быть, о том, что белая кожа – вообще очень непрактичная штука. Чуть тронь ее – и сразу жуткое пятно. То ли дело – черная, гладкая, лоснящаяся... А на белой и морщины раньше вылезают, и увядает она моментально, как полевой цветок, поставленный в вазу... Вон эта, которая «компран па», выглядит как сушая старая кляча, хотя бебешка у нее еще совсем крошечная. Наверное, никто замуж не брал, вот и родила так поздно. А может, она и вовсе не замужем. Кольца-то обручального не видно. А строит из себя... ишь, вырядилась, как девочка!

Алёна вообще была склонна драматизировать житейские ситуации и гнать в душе пену негатива там, где надо и не надо, поэтому она словно бы слышала самые жуткие эпитеты, проносимые черным агрессивным большинством. Что и говорить, некоторые удары попадали не в бровь, а в глаз! И кольца-то обручального у нее нет, потому что нет мужа. И вид-то собственный казался ей теперь самым нелепым на свете...

Конечно, черные африканские курицы отчасти правы: дамой первой молодости ее не назовешь; может быть, уже и о второй говорить проблематично, но факт тот, что в своем постбальзаковском возрасте она умудрилась изваять себе премилую фигуру. Хорошие задатки для этого у нее имелись всегда, однако они, эти задатки, прежде были отяжелены и скрыты от посторонних глаз десятью тире пятнадцатью лишними килограммами, а стоило Алёне от них избавиться, как она заодно скинула с плеч лишние десять тире пятнадцать лет, честное слово! Это немедленно сказалось на ее имидже и приоритетах – как в личной жизни, так и в выборе одежды. Топик и узкие бриджики так и обливают все ее симпатичные выпуклости и вогнутости! О личной жизни упомянем несколько позднее, потому что говорить о таких мелочах как-то неловко в преддверии надвигающегося международного скандала...

А тем временем, как всегда перед бурей, наступило недолгое затишье. Закидав Алёну насмешливыми взглядами, будто камнями, негритянки отвернулись от нее, словно ее и на свете нет, и выжидательно уставились на главную скандалистку, которая достала из кармана навороченный сотовый телефон и принялась с кем-то оживленно болтать.

Зрелище этой дикарки, едва вырвавшейся из дремучей африканской саванны, а уже запросто обращающейся с портативом (по-русски говоря, с мобильником), который остается

недостижимой мечтой миллионов россиян, доконало Алёну. За державу было обидно, да и за себя, если на то пошло, потому что у нее-то имелся «Siemens» простейшей модели. Жалко было расходовать на такую ерунду, как продвинутый мобильник, те десять тысяч, которые можно потратить на новые туфельки, к примеру, или на швейцарские кремики, которые производят с отражением в зеркале такой чудный эффект, или книг закупить, или сделать подарок идолу своего сердца... До чего же противное создание, даже вспоминать о нем неохота, и так настроение ни к черту из-за этих черномазых, у которых ни единой морщинки без всяких кремиков...

От печальных мыслей ее отвлек отчаянный визг Лизочки, к которой снова подступил лукавоглазый мулатик и обсыпал с ног до головы песком.

Да вы что, все с ума посходили в этой вашей свободной Европе от переизбытка всех и всяческих свобод?!

Алёна сорвалась с места и, испепелив мулатика гневным взглядом, принялась отряхивать песок с отчаянно вопящей Лизочки, одновременно что-то такое успокоительное бормоча, но эффект это производило просто никакой: если больших мальчиков Алёна могла уговорить когда угодно и на что угодно, то с маленькими девочками дела обстояли как-то не очень...

Боже ты мой, и волосы у Лизочки все в песке! Что скажет мама Марина!

Алёна начала обметать младенцу льняные нежные кудряшки, но Лизочке это не нравилось, и она вопила так, как будто ее резали на части.

Внезапно кто-то с силой схватил Алёну за руку, и мало того – заломил эту руку за спину, одновременно уткнув в ее спину что-то ужасно твердое. От боли Алёну как бы парализовало, и она не противилась, когда неведомая сила вздернула ее с корточек, выволокла из песочницы и швырнула на скамейку вниз лицом. А потом чья-то чужая рука грубо обшарила карманы ее бриджей, узких настолько, что это было даже не обшаривание, а самое гнусное лапанье. Но вот наконец болезнетворное орудие было отдернуто от ее спины, паралич прошел, и Алёна резко обернулась, готовая убить негодяя, который...

Господи, он был черный! Черный, как сажа, негр с золотой серьгой в ухе! Право слово, ему больше пристало бы носить серьгу в носу, этому дикарю, который только что омерзительно щупал белую женщину своей жуткой ручищей! Алёна задохнулась от ярости, остолбенела от ненависти... и слава богу, что задохнулась и остолбенела, что не ответила на оскорбление увесистой пощечиной. Ведь перед ней стоял не простой негр, а негр-полицейский.

Полисье, говоря по-здешнему, по-парижски.

Франция, Париж, 80-е годы XX века.

Из записок

Викки Ламартин-Гренгуар

Я часто размышляла впоследствии, кем бы он стал, этот Никита Шершнев, если бы не Первая мировая война и не большевистская революция. Закончил бы университет, сделался бы адвокатом гораздо раньше, чем удалось это потом, в Париже? Ведь в России он ничего не успел, не имел возможности хоть как-то проявить себя: едва закончив гимназию и поступив в университет, попал в неудержимый поток событий и уже не мог противостоять им, уже не принадлежал себе. Лучшие годы молодости, вернее даже юности, он воевал: сначала в русской армии, потом в Белой гвардии. В конце концов он очутился в Париже. Здесь уже жили мой отец и его новая жена, в которую Никита был еще с прежних времен безумно влюблен. Чтобы заслужить ее благосклонность (она, видите ли, была убеждена, что любить стоит только героев!), он сделался одним из эмиссаров финского правительства, официальным проводником, которые уводили из Петрограда людей на *ту сторону* и спасали их от гибели в руках большевиков, или от голодной смерти, или от холода, или от цинги, или от болезней, которые нечем было лечить... Никита великолепно знал берега Финского залива – там прошло его детство. И если настоящие финны-проводники заламывали за свои услуги огромные деньги, а порою не стеснялись обирать спасаемых ими людей дочиста, то Никита трудился лишь за ту символическую плату, которую ему давал Русский комитет по делам эмигрантов и коей едва хватало на жизнь. Думаю, он рисковал бы собой и бесплатно: лишь ради служения даме своего сердца...

И вот в один прекрасный день он появился у меня.

Я тогда жила, как все русские: продавала что придется из вещей. Правда, одна беда: на рынке покупателей было меньше, чем продавцов. Книжки вообще годились только на растопку. Когда пришел Никита, у меня даже нечем было его угостить, кроме липкого, остистого черного хлеба и какого-то пойла: не кофе, не чаю, а чего-то вообще не определимого словом. Впрочем, *оно* было хотя бы горячим, поэтому замерзший Никита пил его охотно и, неприязненно поглядывая на меня поверх дымящейся чашки своими поразительными, странно яркими серыми глазами, коротко и четко говорил, что именно нам предстоит сделать, какие вещи надо собрать, к каким опасностям быть готовыми, как попытаться от них максимально остерегаться...

В комнате было полутемно: в его честь я зажгла было две оставшихся свечи, однако он велел погасить их и зря не расходовать. Пришлось обойтись копилкой, от которой на стене метались невероятно причудливые, безумные какие-то тени. Отчетливо помню, что из-за сквозняка огонек безудержно трепетал, наши с Никитой тени то рвались в стороны друг от друга, то неистово сливались. Меня тревожили эти колыхания теней, мне виделось в них нечто пророческое, как если бы некая вещая сивилла явила мне мир своих предсказаний... А потом тревога прошла, и осталось только страстное волнение в сердце – волнение и желание, чтобы мы, совсем как эти тени, слились однажды в неистовом объятии и уж более никогда не разлучались.

Именно в тот вечер я влюбилась в Никиту – сразу и на всю жизнь, на всю свою чрезмерно затянувшуюся жизнь, и, чего греха таить, предложи он мне тогда в уплату за спасение отдаться ему, я не сочла бы эту цену слишком высокой. Напротив, я уже тогда готова была подарить ему себя, даже швырнуть, как мелкую монету (отчего-то дороже я себя не ценила в его присутствии), но он не сделал ни знака, ни намека – ни в тот вечер, ни потом.

Он просто пил, чуть морщась, мое горячее пойло и говорил, говорил, иногда замолкая, взглядывая исподлобья, словно проверяя, все ли я запомнила, все ли поняла правильно, способна ли исполнить требуемое, не перепутаю ли чего-то, не ошибусь ли.

Смешно, конечно: разве женщина способна ошибиться, если речь идет о новой одежде или обуви? А именно о них прежде всего и следовало позаботиться. Нужно было достать валенки на толстых подошвах (идти ведь предстояло по льду, на котором могут быть полыньи и промоины) и белый купальный халат с капюшоном, чтобы темной фигуры не было видно на белом снегу.

Конечно, раздобыть это оказалось непросто, прежде всего из-за того, что поиски таких вещей, особенно большого белого халата, совершенно недвусмысленно наводили на мысль, для чего это нужно, – но мне все трудности казались несущественными. Теперь, после того как провалилось наступление Юденича, которого мы так ждали, надежды на Белую гвардию и интервентов уже не осталось. По всему выходило, что прошлого не вернуть, надо приспособливаться к новой жизни. Но для меня это было подобно мучительной смерти в руках лютого врага. То есть физически, может быть, и удалось бы выжить ценой невероятных моральных жертв, но...

Боже мой, до чего мне хотелось не сдаться, не влиться в ряды *совслужащих*, получающих жалкий большевистский паек: капусту, мерзлую картошку, пшено, иногда и селедку, – а вырваться, вырваться отсюда: из этих постоянных разговоров о еде, из ощущения вечного холода и сырости вне себя и внутри себя, из дома моего на Кирочной улице – когда-то красивого, а теперь стоящего с заколоченным парадным, отчего пользоваться приходилось черной лестницей... Поразительно, что эти новые хозяева России, получив над ней полную власть, не стремились ходить по парадным лестницам, то есть как бы подняться на высоты жизни прежних господ. Нет, они этих господ унижали, как могли, всех стремились подвести под общий уровень, причесать под одну гребенку... Это у них называлось равенство, но почему равенство состояло именно в том, чтобы всем ходить по черным лестницам, жить в *merde*³ и постоянном страхе, – этого я не могла постигнуть тогда и не постигаю теперь. Хотя ведь именно страх был главным их орудием подавления любой попытки недовольства, догадаться легко, почему они его всячески насаждали, – подумаешь, бином Ньютона, как выразился мой любимый писатель, к великому своему несчастью, так и не сумевший вырваться *оттуда* и этим искалечивший свою жизнь... Хотя, впрочем, неведомо, сделался бы он столь велик вне России, и, уж во всяком случае, лучшую свою книгу вне России он наверняка не смог бы написать. Да, участь творца иногда требует непрестанного катарсиса, очищения страданием, но я не была творцом, я была всего лишь девятнадцатилетней девчонкой и не могла, не желала мириться с тем, что вся моя жизнь пройдет в хождении по черным лестницам, где было всегда темно и где в нос ударял острый запах гнилой кислой капусты и густой смрад масла какао, на котором жарили лепешки из моркови или картофельной шелухи. Может быть, это было и не масло какао, но пахло (вернее, *pardon*, воняло!) оно именно горьковатой, приторной сладостью, и некуда было от этого смрада деться. Весь Петроград, чудилось, пропитался им, запах потом меня годами преследовал и заставлял горло сжиматься от рвотных спазмов, чуть только заходила речь о революции и 19-м годе...

Самым трудным для меня было поверить, что нас довел до этого состояния тот самый «народ», любить который меня приучали все в нашем доме, в нашем мире и который я истинно любила! И я наивно верила, что этот народ тоже любит нас, господ, данных ему Богом... Теперь, на каждом шагу встречая постоянные доказательства обратного, я часто вспоминала, как нас учили не быть гордыми перед прислугой (грубо ответить горничной или няне считалось совершенно непозволительным, за это строго наказывали), вспоминала какие-то наивные, уже принадлежащие забытому и почти неправдоподобному прошлому доказательства нашего бывшего духовного единения, сердечного родства с теми, кого так просто и необходимо в нашем доме называли просто «люди». Почему-то чаще всего вспоминался мне случай с Тимофеем.

³ Дерьмо (фр.).

Тимофей был кучером в бабушкином имении в Новиках, и когда мы справляли Рождество в деревне – а мы всегда, с тех пор, как я себя помнила, и до того, как отец начал чудесить, то есть до развода родителей, справляли Рождество в деревне! – именно Тимофею и только ему доверяла бабушка почетную обязанность доставить к нам в гости из Нижнего трех моих кузенов. Дорога была долгая и трудная, но никто не сомневался, что Тимофей привезет молодых господ в целости и сохранности. И когда они вваливались в дом – закутанные так, что не разбери поймешь, кто где, – следом входил Тимофей с выражением законной гордости на красном от мороза лице. Его окладистая борода сначала была белой от изморози, а потом на наших глазах становилась обыкновенной, рыжей, только влажной и поблескивающей каплями растаявшего инея.

Бабушка при виде его немедленно делала буфетчику Федору некий тайный знак, и он приносил на подносике маленький графинчик с прозрачной жидкостью и большую рюмку, из которой никто из господ не додумался бы пить водку: для сего существовали особенные стопки, – но могучего кучера с меньшей емкости «не взяло» бы.

– Спасибо, голубчик Тимофей, что привез молодых господ целыми и невредимыми, как вихрь домчал, – благосклонно говорила бабушка. – Выпей рюмочку с мороза, сделай милость.

– Благодарствуйте, государыня, – всегда по-старинному, как-то особенно бонтонно отвечал Тимофей и одну за другой выпивал две рюмки, а после небольшой паузы, вызванной будто и нежеланием пить, да невозможностью обидеть добрую барыню, соглашался «откушать» и третью.

И вот какой забавный случай я помню.

Буфетчик наполнил первую рюмку, Тимофей истово перекрестился на образ, обтер рукавом армяка оттаявшие усы и бороду и, низко поклонившись, выпил. Потом снова поклонился, осушил и вторую рюмку. И попятился, словно давая знать, что доволен благосклонностью господ вполне. Однако бабушка решила совершенно осчастливить кучера и велела Федору подать традиционную третью рюмку.

Тимофей посмотрел на рюмку, тяжело вздохнул и в смущении перевел взгляд на свою госпожу.

– Дозвольте не пить, государыня! – взмолился он. – Ведь это уксус!

Немая сцена в «Ревизоре» ничто перед нашим оцепенением! А потом – дружный хохот!..

Что же вышло? По ошибке буфетчик попотчевал Тимофея уксусом вместо водки (к счастью, не эссенцией, а столовым, слабо разведенным по бабушкиному вкусу), однако из уважения к своей любимой «государыне» кучер две рюмки выпил чин по чину: стоило ли, мол, спорить из-за таких пустяков! Третью рюмку принять было уже невмочь... пришлось взмолиться о пощаде.

Тимофей погиб в первый же год мировой войны где-то в Галиции – не то я во всяком обращенном ко мне лице «новых хозяев», обратившемся в песью морду, искала бы, наверное, черты доброго нашего кучера и поражалась бы тем метаморфозам, которые происходят на свете... И все это ведь по Божьему попущению!

Утешало меня тогда одно: Господь испытывает величайшими испытаниями тех, кого любит пуще остальных.

Утешало ли?... Скажу по совести – мало!

Но что-то я снова отвлеклась на ненужные воспоминания.

Выполняя советы Никиты и готовясь к «уходу через лед», я, прежде тихая, домашняя, вроде бы совершенно не приспособленная к жизни барышня, обнаружила в себе неожиданный заряд расчетливого авантюризма. На базаре на Бассейной я через третьих лиц разыскала человека, который брал заказы на валенки. Он поразился, когда я попросила сделать тройные подошвы.

– Что ж это за вид у валенок будет?! – спросил он с неудовольствием. – Никакой красоты!

Я встревожилась, что этот ремесленник откажется выполнить мой заказ, чтобы не оскорбить свои эстетические чувства, а когда он спросил: «На что вам такие валенки?» – испугалась еще больше: как ответить? Он может настучать...

Хотя нет, тогда такого выражения еще не было в ходу меж русскими людьми: я просто испугалась, что ремесленник может на меня донести. И молчала, стоя перед ним. Ну уж, наверное, вид у меня был такой, что человек этот обо всем догадался и проговорил, глядя на меня сочувственно:

– Ну что ж, все понятно, сделаю. Не беспокойтесь, добрым словом меня потом помянете: валенки будут отличные!

Они и впрямь получились на загляденье, верную службу мне сослужили, здоровье мое сберегли, еще и теперь, спустя черт знает сколько лет, я поминаю того человека добрым словом, как он и предсказывал...

Потом я продала чудную бобровую шубу моего отца. Как ни странно, она хорошо продавалась, хотя, казалось бы, кому в то время нужны были бобры?! На вырученные деньги я купила много масла и мяса: Никита велел хорошо подкормиться, чтобы набраться сил перед трудным переходом. Я никогда особенно не любила мяса, предпочитала хорошую рыбу (конечно, не ржавую советскую селедку!), но раз Никита велел есть мясо, я его и ела. Я рабски исполняла все его повеления и ни о чем не беспокоилась, ни о каких опасностях: что могу провалиться в полынью, что мы вообще можем сбиться с пути на льду, где нет никаких ориентиров, и попасть хоть бы в Ораниенбаум, как уже случилось с одной из групп беглецов. Наверное, даже если бы мне заранее кто-то напороочил, что мы с Никитой утонем или будем убиты пограничниками, я бы согласилась с тем же ошалелым восторгом, с которым исполняла все его наказания: ну и что, что погибнем, зато вместе!

Мы не погибли. Но натерпелись, ох, натерпелись на этом пути...

Франция, Париж. Наши дни

На полисье (полицейском) была черная форма, туго обливающая упитанное широкоплечее тело, практически неотличимая от него по цвету, и маленькая синяя каска: нечто среднее между пилоткой и шлемом мотоциклиста. Эти полицейские были, однако, не мотоциклистами, а велосипедистами, их Алёна видела в Париже уже не единожды, а еще полицейских на роликовых коньках – черные стремительные тени, – и они ей, честно говоря, очень нравились своей легкостью, изяществом, даже этими своими маленькими забавными касками... То есть раньше нравились, отнюдь не теперь, когда один из этих призраков правопорядка только что обшаривал самые интимные части ее тела и что-то лаял прямо в лицо! При этом своей резиновой дубинкой он то махал в сторону плачущей Лизочки, то хватался за револьвер, висящий у него на бедре в открытой кобуре и привязанный к поясу круглым витым шнуром. Совершенно такими шнурами крепятся к телефонным аппаратам трубки.

То есть имелось в виду, что Алёну он застрелит... здесь и сейчас? И закопает, видимо, в песок? Интересно бы знать, за что?!

Опасность вообще и близость смерти в частности, как говорят, обостряют сообразительность даже у самых несообразительных людей. Алёна не единожды убеждалась в этом на собственном горьком опыте, поскольку биография у нее на экстремалки была богатая,⁴ ну вот и сейчас убедилась в очередной раз. В самом деле, не надо было иметь пресловутые семь пядей во лбу, чтобы догадаться: полисье, который, очевидно, патрулировал этот скверик, услышал истошный Лизочкин вопль, решил, что это зов о помощи, – и теперь убежден, будто именно Алёна поставила Лизочке синяк, но не успокоилась на достигнутом, а продолжает избивать ребенка! Вдобавок публично, при многочисленных свидетелях, вернее, свидетельницах. Можно не сомневаться, что няньки, особенно та, в кожаном платье, поклянется в чем угодно, если это поможет загнობить белую супротивницу! Обязательно набрешут, что она и других детей избивала в песочнице... маленькую негрятяночку с косичками, к примеру. И тут-то уж полисье из одного только чувства оскорбленной расовой солидарности русскую преступницу в дугу согнет!

– Да вы что, това... – пролепетала было Алёна, но немедленно сообразила, что товарищем французского полисье, к тому же чернокожего, назвать никак нельзя. – Да вы что, гражда... – начала она, но снова осеклась, онемела и, забыв вообще все известные ей французские, а заодно и русские слова, беспомощно уставилась в его злые глаза – огромные, да еще и выпученные. Теперь она постигла наконец, что значит выражение «свирепо вращая белками».

– А, так вы русская? – слышался рядом насмешливый мужской голос – *русский* голос! – Я так и думал.

Алёна резко обернулась и увидела загорелого человека лет сорока, в джинсах и свободном сером пуловере. Он стоял за низенькой оградкой, отделявшей сквер от тротуара, и очень яркими серыми глазами превесело смотрел на жертву французского полисье.

Нашел чем увеселяться, садист несчастный!

Поймав затравленный взгляд Алёны, садист подмигнул и легко, словно подброшенный, перескочил через ограду сквера. Приземлившись, он приветливо улыбнулся полисье, а потом что-то быстро, негромко начал говорить по-французски, дружелюбно поглядывая то на самого полицейского, то на стайку примолкших няnek. Мельком обернувшись к ним, Алёна поразилась

⁴ Об этом можно прочесть в романах Е. Арсеньевой «Репетиция конца света», «Дамочка с фантазией», «Сыщица начала века», «Крутой мен и железная леди».

лась общему выражению почти детского восторга и ожидания чуда, которое читалось на их черных, лоснящихся физиономиях. Теперь няньки весьма смахивали не на кур, а на стаю ворон, присевшую на краешке поля, где кипит бой, в ожидании неременной и скорой добычи.

Между тем полисье, выслушав незнакомца, несколько раз растерянно мигнул, а потом пожал широченными плечами и потянул из чехла рацию, будто намереваясь немедленно вызвать автозак, или как они тут называются, в Париже, чтобы увезти злостную преступницу в узилище.

Незнакомец опять улыбнулся с тем же подавляющим дружелюбием и похлопал полисье по руке, сжимавшей плечо Алёны. Хлопок был легкий, почти не ощутимый, однако рука полицейского словно сама собой разжалась и упала, будто неживая.

«Бежать! – промелькнуло в голове у почувствовавшей себя свободной Алёны. – Бежать скорей к Марине!»

Стоп. Не получится к Марине! К ней нельзя вернуться без Лизоньки, да и вообще, мыслимо ли это – бросить ребенка бог знает где, а путь в песочницу преграждала черная полицейская туша. Да и няньки-вороны при попытке к бегству накинутся на нее всей стаей, заклюют...

Между тем полисье недоумевающе оглядел свою руку, которая явно отказывалась ему повиноваться, а потом с убийственным выражением уставился на незнакомца. Чудилось, теперь он намерен закопать в песок вместе с Алёной еще и этого невесть откуда взявшегося типа! Но тот, продолжая улыбаться негру, словно брату родному, что-то ему сказал, а потом приподнял свой просторный серый пуловер (на миг Алёна увидела поджарый загорелый живот) и вынул из сумки-пояса какое-то удостоверение, закатанное, по местному обычаю, в пластик. Удостоверение он поднес к своему лицу, словно давая полисье возможность сличить то, что он видит в натуре, с фотографией.

Полисье растерянно хлопнул глазами, челюсть у него отвисла... потом он сделал какое-то странное телодвижение, как если бы намеревался откозырять незнакомцу, однако выше плеча руку так и не смог поднять.

И на его мясистом лице выразился искренний страх.

Сероглазый мужчина усмехнулся, дружески хлопнул его по плечу, и полисье явно вздохнул с облегчением, ибо его рука снова обрела способность к действию. Он все-таки подбрёл два черных пальца к куцему козырьку своей не то каски, не то фуражки, а потом, окинув угрюмым взглядом притихшую стайку нянек, неловко перевалился через оградку скверика, вскочил верхом на велосипед, прислоненный с противоположной стороны, и мгновенно исчез, блеснув на прощанье своей дурацкой серьгой.

– Ну, я полагаю, у французского правосудия больше нет к вам претензий, мадемуазель, – сказал незнакомец, отирая лоб, как если бы он только что не языком преимущественно молодил, а сражался за свободу этой самой мадемуазель (кстати, при этом обращении Алёна воспылала к своему спасителю еще пуще благодарностью!) с оружием в руках. – А потому – орувар! Прощайте!

И он сделал некое стремительное подготовительное движение, как бы намереваясь не только перескочить оградку, но и вообще взвиться в воздух и улететь навсегда.

– Подождите! – воскликнула Алёна. – Дайте хоть спасибо вам сказать!

– Ну что ж, извольте, скажите, – милостиво разрешил незнакомец. – Только побыстрее, ибо я чрезвычайно спешу. Задержался лишь потому, что не смог пройти мимо, когда понял, какой фокус с вами намерены проделать.

– Вы-то поняли, а я до сих пор ничего толком сообразить не могу, – беспомощно проговорила Алёна (эту беспомощность она изрядно утрировала, внезапно вспомнив то, о чем жизнь ее заставляла постоянно забывать: сила женщины в ее слабости!). – Вон тот пацанчик, – она неприязненно махнула в сторону мулатика, – обсыпал песком мою девочку. Я стала ее

отряхивать, и тут полисье налетел, как черный ворон... Видимо, он решил, что я ее избиваю. Тут еще, видите ли, этот ужасный синяк... она у нас позавчера упала...

– На самом деле все не так просто, как вам кажется, – исподлобья глянул на нее спаситель своими яркими глазами. – Скажите, мадемуазель, вы, часом, не повздорили с этими бебиситтерами? Так, по-свойски? Разошлись, к примеру, во взглядах на воспитание детей или еще на что-то? Хотя нет, что ж это я! – легонько хлопнул он себя по лбу, отчего его небрежно причесанные темно-русые волосы разлетелись, и стало видно, что в них вовсю пробивается седина. Между тем лицо у него было молодое, худое, энергичное.

«Симпатичный мужик», – подумала Алёна, и глаза ее оценивающе прищурились.

А что тут такого? Почему бы им и не прищуриться? Вы чертовски привлекательны, я чертовски привлекательна...

– Что же это я! – повторил чертовски привлекательный спаситель. – Вы ведь парль па э компран па франсе, не так ли?

– Ну, как раз эту фразу я вполне парль, – усмехнулась виновато Алёна. – А откуда вы знаете?

– Потому что об этом мне сообщили ваши антагонистки, – он кивнул в сторону негритянок.

Волосы его снова взлетели и упали на лоб. Почему-то это движение странно волновало Алёну. И едва уловимый, словно отдаленный напев, акцент в его речи ее тоже волновал... А тут еще загорелый впалый живот и необыкновенные серые глаза...

Какая жалость, ну какая жалость, что эти самые глаза смотрят на нее патологически дружелюбно, не более того!

И тут до нее дошло, о чем идет речь.

– Как это – они вам сообщили?

– Словами, – пояснил спаситель. – На чистом французском языке. Я проходил вон там, – он махнул рукой за оградку, где пролегал узехонький, типично парижский тротуарчик, – и остановился, ожидая, когда загорится зеленый свет на переходе. У меня, видите ли, своеобразная фобия к красному свету, я всегда до тошноты правильно перехожу улицы, даже если нет ни одной машины, – пояснил он как бы в скобках, и это пояснение заставило Алёну посмотреть на своего спасителя с еще бульшим восхищением.

Штука в том, что она и сама переходила улицу только на зеленый свет, и эта особенность натуры – фобия, как выразился незнакомец, – помогла ей не далее как два месяца назад совершенно случайно распутать одно довольно запутанное дело⁵ и содействовать торжеству справедливости.

– Ну вот, – продолжал незнакомец, – я стоял на тротуаре и вдруг услышал злорадное хихиканье ваших знакомых бебиситтер. Я остановился и прислушался. Поскольку я довольно часто хожу этой дорогой и перехожу улицу именно в этом месте, то воленс-неволенс порою слушаю их трепотню. Как правило, тематически она весьма однообразна: перемывание белых косточек их хозяек. И неряхи они, и растеряхи, и детей неправильно воспитывают, и жуткие скандалистки, но ваши знакомые бебиситтер не стесняются ставить их на место почем зря! Ведь эти няньки в своих Занзибарах, Сенегалах и Нумибиях были столь высокопоставленными особами, что их нынешним хозяйкам и не снилось!

– Да ну! – воскликнула Алёна. – Ну и сидели бы там, в этих самых Занзибарах, сюда-то зачем притащились?

– Виной тому непостоянство Фортуны! – улыбнулся незнакомец. – Однако на сей раз предмет разговора был иным. Черные няньки помирали со смеху, глядя на полисье, который призывал к порядку белую мадемуазель...

⁵ Об этой истории можно прочесть в романе Е. Арсеньевой «Крутой мен и железная леди».

– Призывал к порядку! – возмущенно взвизгнула Алёна.

– Вот именно. Эта сцена доставляла кумушкам несказанное удовольствие – прежде всего потому, что была срежиссирована одной из них.

– То есть как? – недоумевающе нахмурилась Алёна.

– Я не зря спросил, не повздорили ли вы прежде с вашими соседками, – пояснил незнакомец. – Особа в коричневом кожаном наряде просто-таки лютовала от восторга, наблюдая за вашими мучениями! Именно она позвонила по портателю своему задушевному приятелю, тому самому полисье, и уговорила его разыграть маленький спектакль с иностранкой, которая не знает французского языка и которую очень легко будет напугать до полусмерти. Разумеется, никаких карательных мер принято бы не было, все обошлось бы небольшой моральной встряской, однако крови успели бы вам попортить немало.

– Что?! – прошептала Алёна, не веря своим ушам. – Это была просто инсценировка?! Такая милая шуточка?! И полисье... он...

– Редкостная пакость этот полисье! – кивнул спаситель. – Впрочем, думаю, он теперь надолго закается играть в такие опасные игры. Я не преминул довести до его сведения, что комиссар полиции этого округа, мсье Гизо, – мой кузен. Он, конечно, круглый дурак (полисье, разумеется, а не кузен Жако), именно поэтому и не поднялся в чине выше рядового патрульного. Теперь уж, хочется верить, и в самом деле не поднимется. Как бы ему вообще со службы не вылететь за свою страсть помогать прекрасным занзибаркам!

– Прекрасным! – фыркнула Алёна, не зная, чем больше возмущаться: тем подлым спектаклем, который разыграла с ней мерзкая негритоска, или комплиментом в ее адрес. Чудище обло, огромно, стозевно и ла-яй! И черно к тому же! А впрочем, на свете существует множество мужчин, которые находят чернокожих женщин чертовски привлекательными. Не из их ли числа ее спаситель?

Да ладно, это его личные трудности. В конце концов, в международном конфликте он встал все же на сторону не прекрасной занзибарки, а белой мадемуазель.

– Я просто не знаю, как вас благодарить за то, что вы меня выручили из такой жуткой переделки, мсье, – сказала Алёна, невольно проникаясь изысканной старомодностью речи своего спасителя и смутно надеясь, что он пояснит, как именно ей следует выразить свою признательность. Телефончик спросит, к примеру... – Без вас я бы просто пропала. Моральная встряска удалась, что и говорить...

– Не нужно мне никакой благодарности, – добродушно сказал спаситель. («То есть как это – не нужно?!») – Но уж если вам непременно хочется...

Ага, это уже лучше!

– Хочется, очень хочется! – пылко воскликнула Алёна.

– Тогда не откажите дать мне... – проговорил незнакомец, глядя на нее чуть исподлобья, и приостановился, словно в нерешительности.

Алёна аж задохнулась от нетерпения, чувствуя, что очень мало существует на свете вещей, в которых она могла бы отказать человеку, который так на нее смотрит.

– Не откажите дать мне слово, что выучите французский язык, – произнес спаситель. – В чужой стране без языка вы совершенно беспомощны, сами могли в этом убедиться. К тому же хоть вы и работаете, судя по всему, в русской семье, однако же скоро ваша подопечная, – он кивнул в сторону песочницы, где Лизочка, Сарб и мулатик, презрев все международные конфликты на свете, упоенно играли вместе, – совершенно свободно будет болтать по-французски, и вам придется с ней очень трудно.

И только тут до Алёны доехало, кем он ее с самого начала считал. Лизочкиной бибиситтер! Такой же нянькой, как эти черные, только белой!

И не только он так считал. Черные клуши тоже приняли ее за свою коллегу. Еще небось лютовали, что безграмотная иностранка отбирает в Париже хлеб у высокопоставленных занзибарок!

С другой стороны, за кого они еще могли принять Алёну? На роль маменьки Лизочкиной она не годится – старовата, бабушкой быть ей еще рано даже с самой недоброжелательной точки зрения. Одета фривольно... А писательский билет, удостоверяющий ее статус, в зубах носить не станешь. Разве что перевести его на французский, закатать в пластик, повесить на шею на манер бейджика и совать при случае всем под нос, как спаситель сунул свое удостоверение полисье.

– Насчет французского вы абсолютно правы, – с тонкой улыбкой кивнула Алёна. – А вот насчет моей профессии... Я, видите ли, сегодня в скверик пришла по просьбе подруги, у которой гошу. Сама она неважно себя чувствует, вот и пришлось мне с нашим Лизочком гулять. А вообще-то я писательница. Ну, книжки пишу, – пояснила она, для наглядности водя туда-сюда пальцами, собранными в щепоть, как если бы сжимала в них свое рабочее перо, хотя вот уж много лет ваяла романчики только на компьютере и ручкой владеть практически разучилась. – И, между прочим, даже довольно много их написала. Здесь они вряд ли продаются, конечно, но я точно знаю, что в Тургеневской русской библиотеке на рю Валанс мои романы есть. И детективные, и любовные, и исторические. Так что, если вы там бываете, можете полюбопытствовать. Меня зовут Алёна Дмитриева...

Пояснять, что это творческий псевдоним, она не стала, потому что, как уже было сказано, имя свое настоящее недолюбливала. Елене Ярушкиной в жизни мало чем можно было гордиться, в отличие от Алёны Дмитриевой!

– Мое имя Никита Шершнеф, будем знакомы, – пробормотал спаситель, глядя на Алёну как-то странно. Ну да, понятно: принцессу принимал за Золушку! Классическая романтическая ситуация! И очень перспективная – как в литературе, так и в жизни...

– А вы давно живете во Франции, Никита? – начала светскую беседу Алёна. – Работаете здесь, как я поняла? И кем, если не секрет?

– Во Франции я давно живу, да, – все с тем же странным выражением ответил новый знакомый. – То есть, если быть точным, я тут и родился. Что же касается моей трудовой деятельности, то... – Тут Никита сдавленно кашлянул, и Алёна вдруг поняла, что он едва сдерживает смех. – Я, видите ли, *tu eur a gages* – наемный убийца. А теперь – *a bientôt*. И учите французский, писательница!

С этими словами он сделал Алёне ручкой, взвился над оградой – и исчез. Не в том смысле, что растаял в воздухе, а торопливо перебежал улицу... на красный, между прочим, свет. Хорошо, что в Париже водители автоматически уступают дорогу пешеходам, а то не миновать бы дорожно-транспортного происшествия с трагическим исходом.

Алёна только головой покачала. Наемный убийца, ну надо же, как остроумно! Понятно: Никита Шершнеф не поверил ни одному ее слову. Его словам тоже верить не стоит. Небось клерк какой-нибудь, и это еще в лучшем случае.

Ну и ладно, а то, будь он и впрямь наемным убийцей, его прощание звучало бы, мягко говоря, многообещающе. Как ни плох Алёнин французский, эти слова ей все же известны: «*a bientôt*» значит «до скорой встречи»...

Франция, Париж, 80-е годы XX века.

Из записок

Викки Ламартин-Гренгуар

Я думала, Никита меня одну поведет из Петрограда, но у нас составила группа из пяти беглецов: богатая эксцентричная англичанка, застрявшая в России из-за своей страсти к путешествиям (она воображала себя второй леди Эстер Стенхоп и Териак де Мерикур⁶ в одном лице, но русская революция и Гражданская война живо выбили из нее эту дурь!), замечательный пианист Соловьев (он нелепо умер в Хельсинки на другой же год после бегства – попал под автомобиль!), профессор восточных языков с мировым именем... (вот беда, вспомнить его никак не могу) да еще один молодой человек, приятель Никиты, по фамилии Корсак (из знаменитой семьи, только отпрыск какой-то захудалой, вовсе уж незначительной ветви... ему предстояло, к слову сказать, сделаться моим первым мужчиной и мимолетным любовником, но тогда ни он, ни я этого еще не знали, разумеется!). Ну и я – пятая.

Потом Никита обмолвился, что должен был пойти с нами еще один человек, провизор, его дальний родственник, однако не решился. У него было большое сердце: побоялся, что не дойдет, умрет в дороге. Между прочим, зря не пошел: так хоть бы на свободе умер, а то спустя месяц его расстреляли в Чека – якобы за отравление некоего большевистского деятеля, которому этот провизор вручил яду вместо какого-то лекарства, и тот умер от *сердечного спазма*. Ну что ж, в свете того, что я теперь знаю, это меня ничуть не удивляет...

Мы все никак не отправлялись в наше опасное путешествие, хотя уже были вполне снаряжены и готовы: ждали, пока окрепнет лед. Но вот Никита дал знать, что больше ждать невозможно, придется рисковать, и сообщил нам план действий. Мы должны были порознь добраться на поезде до последней станции Финляндской железной дороги, до которой разрешено было ехать, а там встретиться. Когда по пути на вокзал я проезжала на трамвае Охтинский мост, то увидела, что никакого льда на Неве вообще нет: одно сало плавает. Впрочем, нет нужды повторяться и вновь говорить о моем полном доверии к Никите и об остром желании отправиться вместе с ним куда угодно, хоть к черту в зубы!

Вскорости мы почти туда и попали...

Мы заранее условились выйти из поезда и по отдельности погулять вдоль берега до темноты. Я пошла вдоль леса и немедленно сбилась с дороги. Вдруг раздался свист: это, оказывается, Никита следил за мной и сразу понял, что дело неладно. Бог ты мой, чего я только не навоображала себе тогда, услышав этот его свист и увидев, как он мне призывно машет рукой! Диво, что я там же, на берегу, ему на шею не бросилась. Удержала меня, видимо, только нехватка времени: пора было трогаться в путь.

Уже совсем стемнело, когда мы вшестером спустились к берегу залива. Здесь лед лежал сплошняком, и мои спутники, тоже видевшие сало на Неве, несколько поуспокоились. Было около половины восьмого; из солдатских окопов, находившихся неподалеку, доносились говор и смех. Но путь должен был пролегать именно в такой опасной близости, поэтому Никита приказал:

– Ни слова, господа, ни звука, даже если провалитесь в полынью, не то погубите прочих. Но не тревожьтесь: я слежу за вами всеми.

⁶ Леди Эстер Стенхоп – знаменитая английская путешественница, прославившаяся своим бесстрашием и эксцентричностью; Териак де Мерикур – участница Великой французской революции, известная своим распутством и жестокостью по отношению к аристократии.

В том, что это правда, я убедилась первая, потому что, едва сделав первые шаги по льду, провалилась в воду по пояс. Никита мгновенно очутился рядом и с невероятной силой выдернул меня из полыньи, словно пробку из бутылки шампанского. К счастью, я была настолько тепло одета, что не успела промокнуть: вода скатилась с меня правда что как с гуся, ну, разве что халат замочила. На нас на всех поверх шуб надеты были халаты с капюшонами: белые, купальные, какие он велел раздобыть, а поверх них мы все обвязались толстой веревкой – и пошли.

Меня снова поставили вперед – как самую легкую, – дали в руки альпеншток. У нас не было никаких вещей, никакого груза (денег, к слову сказать, тоже ни у кого не имелось!), только спички в карманах да нюхательный табак (бросать в глаза собакам или людям, которые на нас набросились бы, сбейся мы с пути). Сейчас вспоминаю – все это кажется смешным, чем-то из детских книжек, однако Никита рассказывал истории, когда этот смешной табак жизнь людям спасал. Заблудиться на льду – раз плюнуть, что с нами и произошло вскоре.

Из ценностей у меня на шее был только крестик, да ладанка с иконкой Божьей Матери, да еще крошечный замшевый мешочек с несколькими золотыми вещицами. Одно из колец моей бабушки мне удалось сберечь, несмотря на самые тяжелые времена. Оно и сейчас на мне.

Итак, меня поставили впереди группы: идти по направлению, указанному Никитой, который был в нашей связке четвертым (вес имел большое значение в нашем пути!), а сзади него тащились профессор и безропотная толстуха леди Эстер (имени ее настоящего я тоже не помню, поэтому так и стану называть). Мне первой выпадало вскарабкиваться на торосы, которые беспрестанно загромождали путь, а потом спрыгивать с них на лед. Он во многих местах оказался покрыт водой: было не ниже пяти-семи градусов мороза. Вот когда я оценила работу того ремесленника с Бассейной улицы! Валенки на тройной подошве служили мне отлично!

Мы шли уже долго, настала ночь. Путь, известный Никите, весь оказался в промоинах и полыньях, поэтому он задал новый курс, полагаясь больше на интуицию, чем на знание. Если бы он шел впереди, наверное, никакой беды с нами не стряслось бы, однако я пыталась лавировать между торосами и невольно сбивалась с пути, забирала в сторону. Заметить это Никита смог не сразу, а когда спохватился и меня остановил, было уж поздно: я замерла ни жива ни мертва, потому что наступила на какой-то кабель. Откуда ему взяться на льду?! И тут огоньки замелькали справа от нас... Вглядевшись, я увидела фонарь, улицу... мы очутились в нескольких шагах от Кронштадта!

Первое движение было – ринуться прочь. Все и ринулись, волоча за собой Никиту, связанного с нами и безуспешно пытавшегося нас остановить. Но береговая охрана, должно быть, услышала, как трещит лед под нашими шагами, и включила два мощных прожектора: нас начали нащупывать световыми лучами.

Никита успел командовать:

– Оставайтесь без единого движения, чтобы даже тень ваша не шевелилась! – И настала бесконечность неподвижности...

Прожекторы погасли, и Никита тотчас подергал за веревку, давая сигнал отходить подальше от береговой линии. Сделали несколько шагов – вновь вспыхнул свет, потом опять темнота, десяток черепашьих шагов – свет, темнота – свет... Уж не помню теперь, сколько это длилось, наверное, минут двадцать-тридцать, а казалось, будто целую вечность. Именно тогда я оценила смысл этого расхожего выражения...

Наконец кошмар прекратился: видимо, матросы рассудили, что им почудилось, и решили пойти спать. Мы сразу сели, где стояли, – устали до такой степени, что ноги у всех разом подкосились. И вдруг туман заколыхался – и на нас из туманной, темной мглы вывалилась какая-то фигура.

Человек!

Это был матрос, которого занесла на лед какая-то нелегкая. Может быть, чрезмерная преданность революционному долгу? А может быть, он просто был в стельку пьян и сам не соображал, куда бредет? В бушлате и куцей бескозырке, он волок за собой по льду тяжелое ружье.

Внезапной встречей среди торосов он оказался ошеломлен так же, как и мы. Подойти он умудрился слишком близко, и у нас не было никаких шансов сойти за ледяные статуи, причудливо изваянные природой. Впрочем, мы вполне могли поспорить со статуями своей неподвижностью, ибо все словно бы окаменели. Матрос тоже обмер на миг... однако он очухался быстрее, чем мы. Правда, повел он себя очень странно. Перехватил ружье – мы думали, что сейчас грянет выстрел, – однако стрелять он не стал, а сунул свое оружие под мышку, чтобы не мешало, а потом вцепился обеими руками в меня, стоявшую к нему всего ближе, и поволок куда-то к берегу – молча и деловито.

Я была так напугана, что продолжала изображать статую, сорванную с пьедестала: не издала ни звука и молча влачилась за ним по снегу, словно вещь. Наши все продолжали стоять недвижимо, то ли еще не придя в чувство, то ли не вполне соображая, что ж теперь делать.

Скорее всех присутствие духа вернулось к Никите. Он сорвал с себя удерживающую его веревочную петлю и кинулся мне на выручку. С этой своей непостижимой способностью двигаться стремительно, неудержимо он словно бы взвился в воздух и в один прыжок оказался рядом с матросом, который удалился уже на несколько шагов вместе со мной, своей безвольной жертвой.

Матрос оглянулся, посмотрел в лицо Никите – и, видимо, прочел на нем свой приговор. Я была совсем рядом с этими двумя мужчинами и явственно могла разглядеть на лице одного холодную, отстраненную решимость, а на лице другого даже не страх, а некий запредельный ужас.

Матрос оттолкнул меня с такой силой, что я упала на Никиту, и тот с трудом удержался на ногах. Впрочем, он тоже незамедлительно отшвырнул меня, чтоб не мешала, – тут уж я не смогла устоять и мешком свалилась на лед. Матрос, забывший про свое ружье, продолжая держать его под мышкой (впрочем, вполне возможно, оно было не заряжено!), огромными, неуклюжими прыжками рванулся было наутек, спотыкаясь и чуть не падая на каждом шагу, однако Никита настиг его, словно перемещаясь по воздуху. Матрос еще раз оглянулся, разинул рот, додумавшись наконец позвать на помощь своих *товарищей*, которые были совсем близко... Но это оказалось последнее, что он успел сделать в своей бестолковой жизни.

Никита слегка замахнулся и ударил его кулаком в висок. Раздался страшный звук раздавленной яичной скорлупы... На миг мне почудилось, что в голове матроса сейчас образуется трещина, сквозь которую потекут мозги... меня чуть не стошнило.

Передо мной все помутилось, но я видела, что голова матроса не треснула. Просто она сильно откинулась назад... он закрыл рот, потом лицо его приняло задумчивое выражение, и он грянулся навзничь так же тяжело, как несколько минут назад упала я. Еще я успела увидеть, как задергались его ноги в валенках: голенище одного из них было неровно обрезано, так что он был короче другого... Потом Никита оказался рядом и с силой дернул меня, помогая встать.

Стояла крошечная тьма, но я совершенно точно помню, что видела каждое мимическое движение лиц. Наверное, ужас надвинувшейся смерти обостряет зрение. Поэтому я отчетливо разглядела поджавшееся, словно бы усохшее от усталости и напряжения лицо Никиты... абсолютно, впрочем, равнодушное как к только что свершившемуся смертоубийству, так и ко мне, безвольно висевшей в его руках.

– Вика, очнитесь, – сказал он холодно. – Надо немедленно уходить прочь. – И, не отпуская меня, махнул остальным, которые все так же сидели на льду – как мне показалось, очень далеко от нас.

Впрочем, так оно и было: ведь веревка, которой мы были связаны, развязалась, когда матрос поволок меня по льду, оттого он так легко сорвал с места только меня, а не потащил за собою нас всех, словно блудливый пес – связку украденных сосисок.

Ишь ты, как весело я описываю все это теперь! Ну да, спустя более чем шестьдесят лет можно и усмехнуться. Тогда-то мне уж точно не до смеху было!

Тем временем наши поднялись с большей или меньше степенью проворности и со всей доступной прытью ринулись нагонять Никиту, на ходу поправляя и восстанавливая нашу связку. Теперь все четверо шли отдельно, а мы с ним – сами по себе, потому что он не отпустил меня, продолжал поддерживать под руку. Честно признаюсь: я уже вполне пришла в себя, но продолжала висеть на его руке, словно пребывала в прежней беспомощности. Я прижималась к нему... я всякий стыд забывала, как только оказывалась близко к нему, что тогда, что потом! Даже сквозь толщу навьюченных на нас одежд (стародавняя загадка о ста шубах вполне могла быть применима не к луку, а к нам!) я ощущала его разгоряченное тело, даже, кажется, чувствовала запах его пота... не могу описать иступления, в которое меня этот воображаемый запах повергал! Жар любовный согревал меня пуще любого костра, я даже подняла руку, чтобы сдвинуть с лица капюшон и отереть испарину, однако Никита так глянул, что я пристыла ко льду.

Это был взгляд убийцы. С тем же выражением он смотрел на матроса перед тем, как нанести ему удар в лоб!

Не помню, писала ли я уже или только хотела написать, что обожаю слово «мазохизм»?.. Вся плоть моя взволновалась и загорелась... я хотела, чтобы он избил меня или даже убил, чтобы причинил боль, муку... как если бы мне мало было тех мучений, которые уже предчувствовало мое сердце и которые вашей покорной слуге в самом деле предстояло от него принять.

Франция, Париж. Наши дни

Заказ пришел по электронной почте. Никита не любил таких заказов. Он предпочитал встречаться с людьми лично. Причем уже настолько поднаторел, что с первого взгляда мог определить, пришел человек к нему за консультацией как к адвокату или с заказом. Какая бы проблема ни отягощала клиента, которому потребовались услуги юриста, а все равно – у него не будет такого неуверенного, бегающего взгляда, такой дрожи в руках, такой сбивчивой речи. Впрочем, Никита умел сразу успокоить клиента, внушить ему уверенность в благополучном исходе задуманного им опасного и противозаконного предприятия. Да, вы пришли именно туда, куда нужно, вас здесь ждут, именно вас, и только вас, не нужно ни о чем беспокоиться, все будет именно так, как вы пожелаете. Вы сами не знаете, чего, собственно, желаете? Тогда я расскажу вам несколько историй о некоторых людях... О, конечно, все имена вымышлены, всякие совпадения с действительностью носят случайный характер...

О, не смущайтесь, мсье или мадам, мы просто беседуем. Это ни вас, ни меня ни к чему не обязывает. Мы беседуем о том, как причудлива и тяжела жизнь. Какой она бывает долгой, надоедливой и как неожиданно порою обрывается!

Вы не слышали о некоем мсье Дюрандале (назовем его так)? Это был преуспевающий антиквар, завсегдатай аукциона Друо. Впрочем, и магазины близ Лувра были бы ему по карману, однако он считал их слишком помпезными и рафинированными, уверял, что в них ничего толкового не найдешь, все это мишура для туристов-миллионеров. Вот на Марше-о-Пюс⁷ его можно было видеть каждый выходной день. Он обожал рыться во всяческом старье. У мсье Дюрандала была прелестная страсть – коллекционировать старинные перстни со львиными головами. Не слышали старую историю, якобы у легендарного кардинала Цезаря Борджиа (брата, к слову сказать, знаменитой распутницы Лукреции Борджиа) был особый перстень, и когда он пожимал руку человеку, которого желал сжить со свету, львиная пасть приоткрывалась и выступал шип, слегка царапая кожу того «счастливец», коего Цезарь почтил своим рукопожатием. Царапинка была пустяковая, однако сей человек почему-то никогда не доживал до утра следующего дня. Ну да, ну да, этот шип был пропитан смертоносным ядом... Так вот, мсье Дюрандаль мечтал найти перстень Цезаря Борджиа!

Он был человеком не бедным, совсем не бедным. Чем-то он болел... говорят, диабет у него был. Потратил кучу денег на лечение, но ведь это неизлечимо, диабетик вечно живет под страхом смерти. Конечно, это мучительно, однако люди, говорят, привыкают ко всему. Может быть, он протянул бы еще много лет, хотя боли терпел такие, что жить не хотелось. Но вот, вообразите себе... Этот мсье Дюрандаль как-то раз блуждал, по своему обыкновению, по блошиному рынку и остановился возле своего знакомого торговца, который как раз и специализировался на старинных побрякушках: перстнях, браслетах, серьгах, медальонах... Конечно, там была масса новодела, который этот торговец выдавал за антик, но встречались вещишки поистине уникальные.

Мсье Дюрандаль копался в куче этого металлического барахла, как вдруг рядом остановился какой-то молодой человек. О чем-то заговорил со старьевщиком, рассеянно перебирая его товар... и вдруг вытащил из свалки бронзовый перстень, потемневший от времени, уже даже не зеленый, а сплошь черный, с въевшейся в него грязью веков. Львиная голова! Молодой человек надел его на палец правой руки и засмеялся: мол, этот перстень такой старый, что вполне мог бы принадлежать Цезарю Борджиа! Сколько он стоит?

⁷ Блошинный рынок в Париже – пристанище старьевщиков и антикваров.

«Увы, – говорит торговец, – мне жаль вас огорчать, мсье, но эта безделушка – грубая подделка, восходит всего лишь к началу XX века, я понять не могу, как она ко мне попала, я ведь новодела не держу, видимо, проглядел, и цена ей – не более сотни евро». – «Ну, как хотите, – покладисто сказал молодой человек и заплатил за перстень. – А все же я убежден, – продолжал он, любясь покупкой, – что вы ошибаетесь, мсье антиквар. Вы просто не можете поверить, что перед вами истинный перстень Цезаря Борджиа. В вас недостает романтики, которая совершенно необходима для вашей работы! А вот мы с этим мсье (и тут он с улыбкой взглянул на Дюрандаля) истинные романтики, верно? А потому мы представим себе, что я – Цезарь Борджиа, который пожимает руку одному из своих гостей, избранному... избранному...»

И не успел мсье Дюрандаль и глазом моргнуть, как молодой человек схватил его правую руку и пожал ее что было силы! Мсье Дюрандаль даже вскрикнул от боли, так как этот злочастный перстень оцарапал ему пальцы до крови.

«Ах, пардон, – сказал молодой человек, – львиная голова нечаянно укусила вас... но зато соблюдены все исторические реалии, вы не находите?» С этими словами он улыбнулся, помахал рукой и растворился в толпе, наводнившей Марше-о-Пюс. А мсье Дюрандаль так и остался стоять, глядя на свою царапину.

Правда, это забавное, незначительное происшествие почему-то произвело на него очень странное впечатление. Он не стал больше бродить по рынку, а сразу вернулся на стоянку, где оставил свою машину, и уехал домой. И что вы думаете, мсье или мадам? Не прошло и получаса, как он почувствовал себя неважно. На счастье, в это время он уже был дома, в окружении семьи, жены и сына, своих наследников (между нами говоря, очень не одобрявших непомерных трат мсье Дюрандаля на старинные безделушки. Но это к делу совершенно не относится, уверяю вас, мсье или мадам!). Вскоре мсье Дюрандаль лишился сознания, наследники вызвали доктора, но тот прибыл лишь для того, чтобы констатировать скоропостижную смерть. Нет, не от диабетической комы, как можно было бы ожидать, зная историю болезни мсье Дюрандаля! От сердечного спазма! Забавно, правда? Неужели тот торговец ошибся и среди его многочисленных подделок и впрямь оказался подлинный перстень Цезаря Борджиа? И мсье Дюрандаль не перенес счастья, что его мечта сбылась... О, в таком случае ему повезло хотя бы в последние мгновения его жизни. Если бы человек мог сам планировать свою смерть, этот господин, конечно, пожелал бы именно такой кончины.

А вот еще одна история – тоже весьма забавная и поучительная. Некая дама – приличного достатка, средних лет, прожившая весьма среднюю, не слишком-то интересную и не особенно богатую событиями жизнь, – вдруг узнала о том, что она больна... больна неизлечимо. У нее обнаружили рак груди, и, хотя говорят, что это заболевание вполне излечимо, химиотерапия, облучение и прочие мучительные и дорогостоящие процедуры отнюдь не пошли на пользу нашей даме (назовем ее, к примеру... ну хоть Анриетт, что ли). Она лишилась волос, постарела, однако опухоль росла, врачи рекомендовали удалить одну грудь, а может быть, и вторую... Анриетт пришла в ужас – а кто не пришел бы на ее месте?! И у нее на почве стрессов сделался род помешательства: она вдруг ударилась в непомерные траты. Всю жизнь она жила очень скромно, ничего лишнего себе не позволяла, а тут накупила море платьев, туфель, дом забросила и все время проводила в примерочных кабинках магазинов, как дорогих, так и самых дешевых, от «Самаритен» до непрезентабельного «Тати». Там ее не раз настигали такие приступы боли, что продавцам приходилось вызывать врачей! Но, едва придя в себя, наша Анриетт снова пускалась бродить по магазинам, с упоением мерила и мерила новые вещи, изнуря приказчиков своими требованиями принести то и это... Впрочем, они терпели, потому что без покупок Анриетт не уходила никогда. В конце концов ее шкафы начали просто-таки ломиться от тряпок, которые она потом даже не надевала. Знаете, я читал, будто у русской императрицы Елизаветы Петровны было пятнадцать тысяч платьев, многие из которых она, разумеется, даже не успела надеть при жизни! Конечно, Анриетт было далеко до этой любительницы переоде-

ваться, однако денег на наряды она тратила очень много, и дело шло к тому, что ее банковский счет скоро совершенно истощился бы.

Это весьма беспокоило ее племянницу, которая приехала из провинции, откуда-то из Бретани, чтобы ухаживать за больной тетушкой. Надо сказать, эта девица и впрямь оказалась самоотверженной сиделкой, полностью посвятила себя уходу за своей подопечной... Но эта подопечная то и дело сбегала в магазины! Конечно, не стоит скрывать, что девушка мечтала унаследовать после тетки какие-то деньги, однако дело шло к тому, что их вскоре не должно было остаться. Наверное, ей даже пришлось бы отдавать теткин долги! Но тут вмешалось providение.

Несколько дней подряд Анриетт мучили особенно сильные боли. Наконец они ее ненадолго отпустили. Анриетт сползла с постели, кое-как привела себя в порядок и на подгибающихся ногах потащилась... куда бы вы думали? Конечно, в магазин! Помните, на бульваре Осман, как раз напротив Галери Лафайет, был чудный магазин «Маркс и Спенсер»? Года три назад он, к сожалению, закрылся. Говорят, эта английская фирма ликвидировала свои отделения по всему миру. Однако я совершенно точно знаю, что в Париже они закрыли свой магазин именно из-за нашей Анриетт! И вот почему.

В тот день она набрала в примерочную самых дорогих костюмов, платьев, блузок, юбок, брюк и долго, с упоением их примеряла, наказав продавщицам себя не беспокоить. К ней никто и не заглядывал... Правда, какая-то дама, которой хотелось попасть именно в ту же примерочную кабину, которую оккупировала Анриетт (там, по слухам, было очень удобно расположено зеркало), все же туда сунулась, спросила, долго ли еще будет кабина занята, видимо, получила оскорбительный ответ – и убралась восвояси из магазина, так и не став ничего примерять.

Прошло время... час, может быть, два. Честно говоря, продавщицы успели забыть про мадам Анриетт, но внезапно вспомнили про нее и решили нарушить ее уединение. Каков же был их ужас, когда они обнаружили ее сидящей в углу... мертвой! Вокруг нее в живописном беспорядке валялись разные одеяния, и все это, вместе взятое, представляло собой некий апофеоз патологической страсти к одежде! Выяснилось позднее, что Анриетт умерла от сердечного спазма или чего-то в этом роде... Я, сказать по правде, не силен в медицине. Да и какое значение в данном случае имеет диагноз? Умерла так умерла. Главное, что в это мгновение она была воистину счастлива... Ее похоронили, магазин «Маркс и Спенсер» закрылся, а племянница унаследовала-таки остатки капитала Анриетт и ее чудную квартиру на улице Реомюр. Там она и теперь живет. Если угодно, я могу вам дать ее адрес, и она подтвердит мой рассказ...

Никита мог поведать нерешительному заказчику еще пару-тройку подобных историй, а при желании – даже пару-тройку десятков! Если же считать со дня основания фирмы его дедом... если начинать *ab ovo*, так сказать, от яйца, то он мог бы, пожалуй, посоревноваться с самой Шахерезадой! Конечно, о самом первом деле он не рассказывал никогда и никому, это была заветная тайна – семейная тайна! – однако помнил наизусть всех клиентов фирмы, начиная с 1922 года. Сначала это были русские эмигранты (ведь дед Никиты был русским, чистокровным русским, да и отец... это в нем уже смешались русская и французская кровь), постепенно за услугами начали обращаться, так сказать, аборигены, а в годы оккупации Парижа среди клиентов фирмы оказались даже два немецких офицера, за что Никиту Шершнева-первого попытались было после победы зачислить в коллаборационисты,⁸ но ему как-то удалось, выражаясь современным языком исторической родины Никиты, отмазаться.

К слову о языке исторической родины и о языке вообще. В офисе Никита говорил особым образом. Он сам знал, что речь его делается непривычно округлой, старомодной, подчеркнута правильной, но отец уделял его обучению и словесно-языковой дрессировке массу

⁸ От франц. слова *collaborer* – сотрудничать: так во Франции называли людей, которые во время Второй мировой войны сотрудничали с фашистами, в отличие от *résistant* – участников движения Сопротивления.

времени и сил, а умирая (он едва дожил до пятидесяти лет и умер от гепатита), заставил Никиту поклясться на фотографии основательницы фирмы (это была семейная реликвия!), что он будет свято блюсти все традиции фирмы.

Отец знал, что делал. Даже в адвокатской практике Шершневых подчеркнутая изысканность словообразов играла огромную роль и не раз обеспечивала успех на процессах, заворачивая судей и прокуроров. А уж на *специальную* клиентуру манера речи Никиты производила поистине гипнотическое впечатление. Именно поэтому он так любил личное общение и не любил заказы, поступившие по электронке. Конечно, письменно он тоже изъяснялся весьма убедительно, а все ж это было совсем не то. Несколько раз виртуальные заказы срывались... ну что ж, это неудивительно. Заказ на убийство (будем называть вещи своими именами!) – вещь слишком деликатная, чтобы можно было сделать его, не глядя пристально в глаза человека, который твой заказ будет исполнять.

Еще Никита не любил письменных переговоров именно потому, что была слишком велика вероятность провокаций. Нет, что и говорить: все эти десятилетия фирма работала без сучка без задоринки, безопасности и секретности уделялось огромное внимание, и все же дело, которым Шершневы занимались все эти восемьдесят с лишком лет, – дело сугубо противозаконное, хоть какая-то информация могла б просочиться в полицию... Находят же его клиенты, почему не могут найти и те, кто намерен прекратить деятельность фирмы?..

Пока Господь его хранил. И это убеждало Никиту в том, что его дедом было начато поистине богоугодное дело! Ну что же, значит, стоит продолжать. И придется ответить тому человеку, который прислал электронное послание и поинтересовался, когда должен умереть некто по имени Дени Морт.

Что это псевдоним, Никита не сомневался. Mort – значит смерть. Слишком уж навязчивое совпадение, чтобы быть реальным: умереть должен человек по фамилии Mort – то есть Смерть! Впрочем, ради бога, Mort так Mort. У Никиты были свои люди в самых разных местах, вплоть до Интерпола, с их помощью можно было получить информацию о любом французе. Узнает он и о Мортре. Место действия было названо – Бургундия. Отлично, Никита любил Бургундию! Он вдруг подумал: а ведь это странно, что ему ни разу не приходилось работать на исторической родине. Да и вообще – соотечественники не обращались в фирму уже давненько! Во время так называемой перестройки и строительства капитализма в России заказы так и сыпались. Сначала они забавляли Никиту, потом стали навевать тоску. Отчего-то работать приходилось если не в Пигале, в «Мулен Руж» или в каком-нибудь из публичных домов, то уж непременно в «Фоли-Бержер». Конечно, клиент всегда прав, а все же Никита любил работу утонченную. С удовольствием вспоминал заказы, которые пришлось исполнить в Гранд-опера и в Национальной библиотеке, в то время, когда она еще не переехала на окраину Парижа, а находилась в бывшем дворце кардинала Ришелье, на улице его имени. А смерть мадам Викки Ламартин-Гренгуар? Она стала дебютом Шершнефф-пти-фис, Шершнева-внука, – прекрасным, романтическим дебютом, о котором ему до сих пор приятно вспоминать.

И какая дивная звучала тогда музыка! Он специально нашел пару музыкантов, мужа и жену, виртуозно игравших на аккордеоне и скрипке. Это было просто поразительно...

Однако в последние годы что-то никто из русских не возникал в поле его зрения – если не считать этой дамочки, встреченной сегодня в сквере на Монтолон.

Забавная история, что и говорить. Писательница, значит... скажите пожалуйста!

А что, если это правда? Тогда, пожалуй, признаваться ей в том, что Никита Шершнев – наемный убийца, было не слишком разумно с его стороны. Писатели – народ болтливый!

А впрочем, эта Алёна Дмитриева вряд ли ему поверила. Так же, как и он ей.

И вообще, их пути никогда не пересекутся снова, так что беспокоиться совершенно не о чем.

Впрочем, ему совершенно не до нее. Это любимый герой Никитино детства Винни-Пух был свободен до пятницы, а он – с точностью до наоборот. Ему, прежде чем браться за новый заказ, надо уладить еще одно дело на арабском рынке в Двенадцатом округе. Работать предстоит в субботу, нужно несколько раз еще потренироваться в *верховой езде*. Заказчик хотел, чтобы...

Поистине, безгранична людская фантазия!

Да ради бога. Никита готов исполнить любую причуду заказчиков, только бы это не была вульгарная стрельба по движущейся или неподвижной мишени. Чего он терпеть не мог, так это стрелять! Хотя приходилось, конечно...

Значит, первым делом в манеж, нет, сначала позвонить кузену Жако, в комиссариат. Может быть, ему удастся собрать информацию об этом Морте в Париже по своим каналам.

Да, и надо напомнить Жако об этом подлом черном полисье, который до полусмерти напугал сегодня хорошенькую соотечественницу в сквере на Монтолон.

Писательницу.

Да уж, людская фантазия поистине безгранична!

Франция, Париж, 80-е годы XX века.

Из записок

Викки Ламартин-Гренгуар

Некоторое время мы продолжали двигаться молча, быстро, тяжело дыша, но не снижая скорости. Словно по уговору, никто из нас не обмолвился ни разу о случившемся, как если бы сам разговор мог накликать на нас новые напасти.

Впрочем, спасительное молчание длилось недолго.

– Шершневу, а ведь ты его прикончил... – вдруг раздался в темной, влажной тишине голос Корсака, показавшийся таким громким и неуместным, что мы все, даже почти не знавшая по-русски англичанка, обернулись к нему с выражением ужаса. Думаю, нас напугало это напоминание о свершившемся ничуть не меньше, чем само событие.

Никита тоже оглянулся на приятеля.

– Тебе его жаль, что ли? – спросил он негромко, таким холодным голосом, что мне, бывшей к нему совсем близко, почудилось, что изо рта его вылетело ледяное облачко. – Да, я убил. Он сам этого хотел. Мог бы убежать... но он сам выбрал.

Мне показалось, что этим сказано многое, если не все. В самом деле, у Никиты не было выбора: он защищал меня, всех нас, себя... в конце концов, того же Корсака! Вряд ли ему доставило удовольствие убийство, даже совершенное в таких благих целях, поэтому он как бы давал понять приятелю, что считает все разговоры о случившемся бессмысленными.

Однако Корсак не унимался.

– Убил... да как лихо! – продолжал он со смесью страха и восхищения. – В точности как того пьяного работягу на Охтинском мосту, который плюнул на подол твоей даме! Человека убил – и бровью не повел!

Меня поразило только упоминание о даме. Ревнивой судорогой сжалось сердце...

Кто она? Где сейчас? Может быть, она ждет Никиту?

Какая я была тогда маленькая дурочка! Я еще не сделала никаких умозаключений из тех слов, с которыми передо мною предстал Никита на пороге моей квартиры! Я даже не подозревала, что на свете существует только одна дама, к которой стоит ревновать Никиту, и эта дама – моя, с позволения сказать, мачеха...

– Корсак, опомнись, – сказал тем временем Никита. Меж ними, как меж многими молодыми людьми моего круга, велась привычка называть приятелей по фамилиям, а не по именам; тем паче не признавались имена уменьшительные. – Ты воевал, ты сам стрелял в людей, сам убивал. Что ж ты...

– Это иное, – отмахнулся Корсак, приближаясь к нему, а оттого вынуждая всю связку изменить направление движения и изогнуться меж торосов нелепым узором. – Сам знаешь: на фронте мы не видели в лицо неприятеля, мы убивали кого-то *вообще*, а ты убил – *в частности* ...

– Да вам, сударь, что, жалко это дерьмо? – грубо и просто спросил знаменитый пианист – тонкая, творческая натура. – Или, может быть, вы предпочли бы, чтобы он поднял тревогу и матросня перебила нас *вообще* и вас *в частности*?

– А вы помолчите, – отмахнулся Корсак, не обернувшись на него и по-прежнему не сводя взгляда с Никиты. – Не с вами разговаривают. Вы в таких делах ничего не знаете и не понимаете. Молчите себе, чтобы вон Шершнева не раздражить, не то он вас тоже... одним ударом... чтобы под ногами не путались! За ним ведь не заржавеет! Он у нас такой... сами видели!

Раздался общий испуганный вздох – и все замерли, выжидательно уставившись на Никиту.

Бог нас разберет, что мы за существа – люди! Зачем наделены мы этой дурацкой привычкой копать в побуждениях, которые подвигают нас к свершению того или иного поступка? Зачем так глупы, что не можем жить просто, не обременяя себя избытком душевной маеты и умственного словоблудия по поводу и без повода, а порою и вовсе неуместного, вот как сейчас?

Нет, ну ведь совершенно понятно, что вопрос стоял так: или Никита убивает матроса, или конец всем нам. К тому же, казалось бы, за два года жизни в Совдепии все мы такого зверства необъяснимого столько видели-перевидели, что уже должны были и сердцами очерстветь, и желать смерти каждому встреченному большевику. Тем более – коли он из матросни, из этого очумелого сословия, которое сделалось истинным тираном Петрограда! Однако, видимо, в душе каждого русского интеллигента есть непременная патологическая склонность к Достоевщине... А ведь Достоевский был душевнобольной, почему мы про это вечно забываем? Сами хороши, вот почему! Кто это, кстати, не могу вспомнить, писал про «чисто русскую сумасшедшинку»?.. Ох, не зря, не зря называл нас, интеллигентов, Владимир Ульянов-Ленин «гнилой прослойкой»! По-моему, это самое толковое определение, которое было когда-либо дано русскому интеллигенту... да и вообще, самое толковое, что этот Ульянов-Ленин изрек на своем веку!..

Сейчас, после слов Корсака, мы все, и я, и даже толстая англичанка, мало что, а то и вовсе ничего не понимавшая в сумбуре корсаковской речи, исполнились подлинного страха перед тем человеком, которому с такой безоглядностью доверили свои жизни, на которого так надеялись...

– Корсак, – мягко сказал Никита, – ты меня с детства знаешь. Уж кому-кому, а тебе известно, что я никогда и ничего против воли другого человека не сделаю. Когда говорят, что Бог создал человека по образу своему и подобию, думаешь, это означает, что у Творца нашего, у Вездесущего и Всемогущего, две руки, одна голова и два ока? Нет! На то он и Всевышний, чтобы мы не могли представить его себе. И мы на него не похожи! Стол сделан столяром, но разве это значит, что стол должен быть похож на столяра? Мы не подобны Богу, и нет в мире ничего подобного ему. Мы и вообразить не в силах его облик! Но Господь в неизреченной мудрости и милости своей *уподобил* себе человека единственно тем, что дал ему в жизни возможность выбора. Бог выбирает, кого карать, кого миловать, вот так и человек может выбрать, по коему из путей, проложенных пред ним Богом, ему идти. Во всяком случае, жить ему или умереть, человек может решить сам. И смерть себе он выбрать вправе – это и есть его свобода выбора. Понимаешь ли ты, что я говорю?

Я думала, никто, кроме меня, не уловил дуновения угрозы, которой повеяло в голосе Никиты, однако дрожь так и прошла по нашей связке, передаваясь каждому по опутавшей нас всех веревке, подобно тому, как звук передается по телефонным проводам.

Страх сковал всех. Один Корсак никак не мог наговориться.

– Да ты что, Шершнеф? – промолвил он с решимостью пьяного человека. – Неужто ты мне угрожаешь? Да кем ты возомнил себя? Ангелом с карающим мечом? Орудием Бога, которому он дал право карать и миловать?

Уже и вскоре, по истечении нескольких дней, а особенно теперь, по истечении *десяти-ков лет*, этот богословский спор посреди полузамерзшего Финского залива, в ледяной мгле, казался мне не то что неуместным, но совершенно чудовищным. Право, даже и вообразить такого невозможно! Я бы не поверила никому, что это могло быть в действительности, однако сама стала молчаливой участницей того странного и, в общем-то, бессмысленного спора. И в те минуты, клянусь, он чудился нам всем жизненно важным, как если бы тотчас после его разрешения должен был открыться пред нами спасительный финский берег, на коем нас ждут и покой, и сытость, и безопасность, и даже, может быть (где-то в розовой дали!), то, на что мы все очумело надеялись, о чем безумно, бессмысленно мечтали: возвращение в *прежнюю* Россию.

Ну да, о свойствах русской интеллигенции я уж упоминала выше...

– Право карать или миловать? – задумчиво повторил Никита. – Не знаю. Но скажу тебе так: Бог дал мне право спасти человеческие жизни, этим тоже уподобив меня себе, Спасителю нашему. А если во имя этой милосердной миссии мне придется карать – ну что ж, надеюсь, Господь укрепит руку мою и ожесточит сердце мое против врага моего. Да он это только что и сделал, за что я и возношу ему благодарность свою в сердце своем.

Никита произносил каждое слово так, что я словно бы видела их написанными с большой буквы! Никогда не подозревала, что он может быть настолько религиозен, да он и не был религиозен... Но, видимо, Бог и впрямь воодушевил его в те мгновения и дал силу убеждения, которая вразумила даже Корсака.

Он провел рукой по лбу, отодвинув капюшон, и мы увидели, что его лицо похоже на лицо внезапно проснувшегося человека. Подозреваю, все мы имели схожие выражения.

В самом деле, неистовость, обуревавшая Корсака, была сродни опьянению, которое овладело им под угрозой смерти, казавшейся внезапной и неминуемой, это стало как бы разрядкой от ужасного напряжения и страха, коего он тщился не показывать, но который так и рвался наружу. Теперь же слова Никиты вполне отрезвили его, опьянение прошло, морок рассеялся.

– Прости меня, Шершневу, – пробормотал Корсак. – Сам не знаю, что это... как это...

Он умолк и понурил голову.

– Прощаю, – сказал Никита, – только уж давайте, господа, впредь повременим с милой нашему русскому сердцу Достоевщиной до спасительных финских берегов, идет?

Меня, помнится, в самое сердце ударило, что он подумал о том же, о чем и я, почти теми же словами выразился... это меня чуть не до слез тронуло, в голове зашумело, словно и я тоже пьяна без вина сделалась. Я едва слышала, как вокруг затеялся новый разговор, на сей раз имевший практическое значение.

Дело в том, что у нас имелся компас, который, вообще говоря, и должен был указывать нам направление пути на запад. Чиркали мы, чиркали над ним спичками, закрываясь рукавами халатов, однако он почему-то указывал запад вовсе не в той стороне, где ему полагалось быть по нашим расчетам. По мнению компаса, там был север. Возможно, он сломался, возможно, мы все ошибались в своих предположениях, хотя Никита упорствовал: ошибается именно компас!

Ну что ж, порассудив, мы решили идти по компасу, но так: час на запад, час на север. И нашим, так сказать, и вашим. Пошли, вернее, побрели... Мысли посторонние, спор наш внезапный и нелепый – все это из голов выветрилось: слишком боялись утонуть во внезапно повернувшейся полынье (внимание-то у всех уже притупилось, глаза ничего не видели от усталости), но это казалось полбеде: главное дело – не набрести вновь на окопы красной матросни!

И вдруг ледяные торосы кончились, как по волшебству, и Никита с облегчением вздохнул:

– Все, теперь мы уж на окопы не наткнемся, это на финской половине залива такой гладкий лед, сейчас нам главное – не умереть от усталости и до берега поскорее дойти, чтобы еще в темноте в Финляндию попасть.

Мне непонятно было, куда уж так спешить, коли мы уже не собьемся с пути. Сил больше не было, от съеденных накануне и призванных подпитать меня фунтов масла и мяса не осталось даже и помину, подкрепиться было нечем, а тех двух-трехминутных привалов, которые позволял нам Никита, мне уж было недостаточно. После одного из таких привалов я просто не смогла встать и повалилась на лед, твердя почти в беспамятстве:

– Дайте поспать хоть двадцать минут, не могу я и не хочу больше никуда идти.

Леди Эстер, которая всю эту безумную ночь высоко несла знамя женской эмансипации, глядела на меня с осуждением и в то же время с завистью: ее природа не позволяла ей проявить хоть каплю слабости, хотя, конечно, ноги подкашивались у нее не меньше, чем у меня, а то и больше – этакий вес носить не шутка, странно, что ее ни голод, ни лишения постреволюционного периода взять не смогли!

Пианист и профессор подошли ко мне и стали что-то вразумительное говорить, однако их голоса сливались в одно неразборчивое бормотанье.

– Вика, вы нас всех держите, – нетерпеливо сказал Корсак. – Неужели не понимаете: мы все на пределе сил, а коли повалимся рядом с вами, то уже встать не сможем. Вы же не хотите, – добавил он с еле тлеющим проблеском последнего ехидства, – чтобы Шершневу нас всех тут поубивал, на этом льду, дабы свершить свою богоданную миссию?

Пианист прошипел что-то негодующее, но тут раздался тихий голос Никиты.

– Всех убивать я не стану, – промолвил он, – а вот тебя, кисейная барышня, девчонка глупая, не пощажу! – И он начал стаскивать рукавицы.

Леди Эстер сдавленно вскрикнула: решила небось, что Никита обнажает руки, дабы удобнее было вытащить какой-нибудь револьвер или вовсе булатный ножичек – да прикончить меня тут же, не сходя с места. Но я мало что соображала и даже испугаться не смогла. Только отчего-то вдруг меня задело его обращение – видимо, остатки моей гордости, уже подавленные любовью, в последний раз затрепыхались, прежде чем окончательно простереться ниц перед ним.

– Как вы смеете говорить мне «ты»?! – возмущенно раскудаhtалась я. – Немедленно извинитесь!

– Неужели? – издевательски произнес он. – Немедленно?! А вот этого немедленно не хочешь? – И он, сдвинув с моего лица капюшон, сильно шлепнул меня по одной щеке, а потом и по другой. В голове аж звон пошел! – Вот тебе мои извинения! Устала она, видите ли! А ну, пошла, коли жить хочешь!

Он вздернул меня со льда и толкнул, сильно поддав ногой под зад... Господи, да я б убила его в ту минуту, кабы могла остановиться на льду, по которому так и поехали от этого толчка мои знаменитые тройные подошвы!

К счастью, мне было задано верное направление. Я бежала и бежала, скользила и скользила, то взмахивая руками, чтобы удержаться равновесие, то размазывая по щекам злые слезы. И силы откуда-то взялись, и конца им, казалось, не было, так что еще минут тридцать я в каком-то неистовстве неслась, волоча за собой всю группу, не хуже того уже упомянутого мною пса со связкой сосисок, и слезы мои вполне высохли, и я вдруг заметила, что на льду стало как-то светло. Поглядела в небо – оно оказалось уже не мутно-черным, а мутно-серым.

Светало! Светало, а мы еще были на льду! И в эту самую минуту Никита что-то сдавленно крикнул сзади, но я не поняла, что именно: замерев, во все глаза смотрела, как медленно сдвигается край тумана (словно театральный занавес!) и на обрыве возникает почти сказочная, невероятная декорация: сосна на самом краю, за ней густой частокот соснового же леса, а на его фоне – желтая, будто янтарная, какая-то очень нарядная избушка.

– Слава богу, – раздался близко голос Никиты. Я покосилась – оказывается, он уже стоял рядом со мной, сбросив с себя веревку. – Слава богу, мы вышли удачно и при этом удивительно точно: на жилище моего человека. Я почему вас так гнал и хотел непременно добраться до финского берега в темноте? Далеко не все пограничники к нам доброжелательны, некоторые не верят, что к ним являются беглецы, видят в них только шпионов большевистской власти и расстреливают несчастных в упор, прямо на льду, не давая даже к берегу подойти и слова в свое оправдание молвить. Но это еще что! Вот если бы мы вышли на эстонцев, которых здесь тоже немало... Они бы нас не просто пристрелили, они бы нас нарочно в банях паром удушили! Очень злобный народ.

Мне показалось, что этим объяснением он как бы извиняется передо мной за свою вынужденную грубость... впрочем, никакой вины я за ним уже не помнила: ведь меня в те минуты только изрядная встряска могла привести в себя.

В хорошенькой избушке жили безногий финн с женой, которым платил Никита. По-русски они не понимали, зато хорошо знали, что делать в случае внезапного появления своего патрона со спутниками: все вокруг нас завертелось очень быстро. Буквально через час (мы в

это время напился горячего чаю и стали уж задремывать) за нами приехали военные на санях и повезли за десять километров в Териоки. Там нас споро допросили (могу себе представить вразумительность наших тогдашних полусонных, нет, полуживых ответов!), снова погрузили в сани – и уже к полудню мы были в просторной даче на берегу моря близ Териоки: там был устроен карантин, и там нам предстояло пробыть какое-то время до проверки нас всех и до прихода нужных документов: паспортов Лиги Наций и финских или французских виз, кому что было нужно.

Франция, Париж. Наши дни

– Наемный убийца? Что, он так и представился – tueur a gages, killer? Ну и наглец! Ну и наглец...

В голосе Бертрана Баре звучало негодование, однако его зеленые глаза смеялись.

– Вы его знаете? – оживилась Алёна.

Бертран пожал плечами:

– Так, слышал...

– Я тоже слышал, – вмешался Морис. – Правда, как об адвокате, а не о ком-то другом. Один из моих знакомых антикваров однажды пользовался его услугами. И очень хвалил, представьте – за вездливость, за смелость, за красноречие. Но об умении стрелять в цель речи не шло: по-моему, это какая-то шутка, причем весьма дурного тона.

– В каждой шутке есть доля шутки, как любит говорить моя жена, – сказал Бертран. – Уверю тебя, что этот парень бьет без промаха! Хотя, насколько мне известно, огнестрельным оружием он не пользуется. Предпочитает другие средства...

– Нет, погодите, – нахмурилась Алёна. – Он что, в самом деле – киллер... то есть киллёр? – повторила она на манер Бертрана. – И вы так спокойно об этом говорите?! Я что, в Чикаго времен Аль Капоне или все-таки в столице цивилизованного мира?

– Вы не в Чикаго, моя дорогая, – хихикнула Марина. – Однако не забывайте о профессии моего бо фрэра. То, что для вас возможно лишь на страницах ваших детективов, для него – ежедневная реальность.

Бертран Баре – бо фрэр, то есть зять Марины, муж ее сестры Катерины, – по профессии всего-навсего частный сыщик. В житейской практике Алёны Дмитриевой уже было довольно-таки тесное, хотя и кратковременное общение с одним частным сыщиком из родного Нижнего Новгорода. Ну что ж, несмотря на различие в росте, весе, цвете волос и глаз, у русского и французского коллег есть одно несомненное общее свойство: на них не стоит никакого клейма, изобличающего их принадлежность к этой профессии. Бертран вообще выглядит именно так, как в представлении всех женщин мира должен выглядеть истинный француз: невероятно обаятельный, галантный, оживленный, улыбчивый. Он среднего роста, с каштановыми волосами и зелеными насмешливыми, точнее, озорными глазами. Этакий сорокалетний, но так и не повзрослевший Гаврош, в какой-то степени даже Д'Артаньян. Повезло Мариной сестрице, что и говорить. Насколько успела узнать Алёна, познакомились они с Берtrandом случайно, когда Катерина приехала в Париж навестить сестру и от чистой скуки решила поинтересоваться, почему это в доме напротив, где размещалась страховая компания, по ночам работают компьютеры, хотя никого из сотрудников в это время в офисе нет. В результате она попала в довольно опасную историю, выпутаться из которой ей и помог частный детектив Бертран Баре,⁹ сделавшись заодно бо фрэром Марины.

Морис, муж Марины, – тоже типичный француз, но тип этот совершенно другой: нечто среднее между Атосом и Арамисом. Морис – преуспевающий юрист крупной фирмы, коллекционер антиквариата, интеллектуал, человек серьезный. С ним Алёна чувствует себя не слишком уверенно, а вот с Берtrandом она вмиг заговорила на равных, почуяв в нем родственную душу авантюриста.

Кстати, о разговорах. Эти французские мужья русских жен вполне прилично изъясняются по-русски. Именно поэтому услуги Марины как переводчицы почти не требуются.

⁹ Эта история описана в романе Е. Арсеньевой «Имидж старой девы».

Марина сегодня похвалилась заболевшей сестре, что у нее гостит самая настоящая детективщица из России, которая привезла свои книги, и та прислала мужа засвидетельствовать почтение, а заодно и за каким-нибудь новеньким романчиком.

Бертран зашел на минутку, сел выпить чаю с русскими конфетами, к которым его приохотила жена, – да и застрял, слушая, как Алёна рассказывает о своих приключениях в песочнице и о чудесном спасении с помощью русского наемного убийцы Никиты Шершнева...

А ведь, похоже, этот волнующий мужчина не соврал!

– Но если известно о каких-то убийствах, которые он совершал, то почему он гуляет на свободе? – продолжала допытываться Алёна. – Или в самом деле такой блестящий адвокат, что от чего угодно отбrehаться может?

Бертран немного помедлил, справляясь с незнакомой идиомой, потом с довольной улыбкой что-то записал в блокнотик с русским алфавитом на обложке и наконец ответил:

– Все гораздо проще и сложнее. Этого парня никто не поймал за руку. В своем офисе – кстати, он в двух шагах отсюда, на Фобур-Монмартр, тридцать четыре, – Шершнев работает как адвокат. Все по закону! И разве угадаешь, зачем входят люди в эту дверь? Его клиенты не шествуют с плакатами: «Найму убийцу!»

Алёна исподлобья глянула на Бертрана. А вот интересно, он случайно упомянул адрес офиса Никиты Шершнева или догадался, что ей ужасно хочется его разузнать? Если так, то он, видимо, и впрямь недурной детектив! Хотя странно: знать, что где-то рядом действует наемный убийца, – и никак не пытаться пресечь его деятельность!

– Значит, его клиенты своих намерений не афишируют, за руку мсье Шершнева никто не ловил, однако его считают киллером. Почему? На каком основании?

– Кое-какие основания все же есть, – кивнул Бертран. – Видите ли, Алёна, ваш новый знакомый является владельцем некоей фирмы «Passeur». По-русски это – перевозчик или проводник, вроде бы ничего особенного, но обычно так называют Харона.

– Харона? Перевозчика душ умерших через реки подземного царства до Аида? Зловещее название. Но этого мало, чтобы...

– Как-то больно рьяно вы его защищаете, этого Никиту Шершнева, – хихикнула Марина. – А ведь он сам обозначил вам род своей, так сказать, деятельности. Признание обвиняемого – царица доказательств!

– Честно говоря, меня это его признание поразило, – произнес Бертран. – Странная бравада... Уж кто-кто, а Шершнев умеет замечать следы и... как это... отводить у всех глаза. О «Passeur» никто толком ничего не знает, кроме того, что эта фирма предсказывает день смерти того или иного человека.

– Как так? Гадают там, что ли?

– Вы, детективы, только пишете или читаете тоже? – ответил вопросом на вопрос Бертран. – Читали у Агаты Кристи роман «Вилла «Белый конь»?

«Чукча не читатель, чукча писатель? Как бы не так!»

– Конечно, читала. В далекой юности это была одна из моих любимых книг.

– Ну, тогда вы понимаете, что я хочу сказать, – проговорил Бертран, не забыв с истинно французской любезностью одной улыбкой отвести прочь самоуничижительную фразу о далекой юности Алёны.

– Обитатели виллы «Белый конь» держали что-то вроде тотализатора, – вспомнила Алёна, сверкнув в ответ благодарной улыбкой. – Дескать, совершенно непредосудительно делать ставку на то, что тетушка, условно говоря, Мэгги отбросит тапки до Рождества.

– Отбросит... que? – перебил Бернар. – Что? Тапки?! Мон Дье, но зачем?!

Морис с мудрой, терпеливой улыбкой слушал, как Марина с Алёной на два голоса объясняли Бертранию смысл очередной идиомы и выстраивали синонимический ряд: откинуть

коньки, отбросить копыта, дать дуба, сыграть в ящик... Бертран сначала прилежно записывал, потом, видимо, устав, сказал решительно:

– Et cetera, et cetera! Revenons a nos moutons! Вернемся к нашим баранам!

«Странно, – подумала Алёна, – такое впечатление, что герой моего скверного романа волнуется не меньше, чем меня! Надеюсь, по другой причине...»

Скверного – в данном случае притяжательное прилагательное от слова «сквер», это понятно. Что же касается причины собственного интереса, ее Алёне было бы затруднительно объяснить даже себе самой. Как-то неловко снова думать про этот загорелый худой живот. Ладно, взъерошенные волосы надо лбом или необычные глаза – это еще куда ни шло, ей не привыкать волноваться из-за мужских глаз, последние четыре года она только этим и живет, правда, те глаза – черные-пречерные... чернее тьмы, чернее ночи...

– Вернемся, – тряхнула она головой, отменяя совершенно неуместные воспоминания. – К баранам так к баранам! Значит, клиент спорил на то, что тетушка Мэгги доживет до Рождества, а «Белый конь» – что не доживет. Потом тетушку тихонько отравляли таллием, она умирала, клиент получал от нее наследство, а фирма – свой выигрыш. Так?

– Примерно так, – кивнул Бертран. – И приблизительно так же работает «Passeur», только к нему, повторяю, являются клиенты, чтобы узнать день своей смерти. Как это выглядит со стороны? Какие-то люди обращаются к адвокату Шершневу за разрешением некой юридической проблемы. А заодно видят на его столе стопку книг по астрологии. Держать литературу такого рода никому не возбраняется, ведь верно? И от нечего делать эти люди просят адвоката предсказать будущее. Шершневу отвечает, что бесплатно он даже страницу не перевернет. Договаривается о сумме... весьма значительной, надо сказать. Сумма поступает на счет фирмы или вносится наличными, а в один из дней человек, от которого деньги поступили, отбрасывает туфли... pardon, тапки. И ни к чему невозможно придаться... Кроме того, что все эти люди умирают по одной и той же причине – от сердечного спазма.

– Секундочку, – пробормотала Алёна. – Что-то я ничего не могу понять. То есть все эти люди платят ему за свою смерть?!

– Да ну, глупости какие, – раздраженно сказал Бертран. – Где вы видели таких идиотов? Дело обставлено очень хитро, очень умно, вот что! Предположим, вы или Марина пришли к этому Шершневу, чтобы, как это у вас в России принято выражаться, заказать, ну, условно говоря, меня.

– Боже сохрани! – очень пылко воскликнула Марина, и Алёна мысленно усмехнулась, поняв, до какой степени Марину раньше волновала судьба ее старшей сестры и как же она довольна своим бо фрэром. Однако самой Алёне тоже был очень симпатичен этот Бертран Баре, поэтому она столь же пылко присоединилась к Марине:

– Тьфу, тьфу, тьфу, о присутствующих не говорят, на себя не показывают!

– Условно говоря! – повторил Бертран, наставительно подняв палец. – Итак, вы приходите, но называетесь не своим именем, а моим.

– Но вы ведь мужчина? – с некоторой неуверенностью проговорила Марина. – Как же я или Алёна можем представиться Бертраном Баре? Нам что, переодеваться, гримироваться надо?

– Кажется, я сделал правильный выбор, когда женился на Кате, – раздраженно проворчал Бертран. – Она понимает хотя бы половину из того, что я говорю!

«Ну да, конечно, а мы дуры набитые!» – обменялись взглядами Алёна и Марина.

– Поосторожней, Бертран, – подал голос молчавший доселе Морис. – Честно говоря, я что-то тоже не вполне...

– Мон Дье! Да ведь Шершневу безразлично, кто к нему явился на прием. Главное, что в его бумаги, которые он представляет в налоговые органы (а надо сказать, что этот мсье – очень

прилежный налогоплательщик), будет занесен именно тот человек, которого вы заказали! И которому предстоит умереть! Теперь понятно?

– Погодите, погодите! – мигом оживилась наконец-то все понявшая Алёна. – Но ведь это очень просто... надо всего лишь добраться до его отчетных документов. И посмотреть, чьи имена там значатся. И предупредить тех людей, что на них может быть открыта охота.

– И предстать перед судом по обвинению в оскорблении личности и клевете, – кивнул Бертран. – Далеко не каждый клиент Шершнева – потенциально заказанная личность. Может быть, два, а то и один из полусотни, ясно вам? Его адвокатская контора берется за огромное количество дел, но сам он при этом ведет лишь немногие процессы. Он, собственно, не держит у себя большого штата юристов, а является как бы брокером на юридической бирже, сводит адвокатов с клиентами, получая за это очень немалый процент.

– Посредник! – пробормотала Алёна.

– Pardon? – переспросил Бертран.

– Я говорю, что он везде является посредником, и в основной фирме, и в тайной. Харон – это ведь тоже посредник между миром мертвых и живых.

– Вот именно. Кстати, его основная фирма так и называется – «Intermйdiaire». По-французски это именно «Посредник».

– И все равно! – упорствовала Алёна. – Если бы удалось проследить эти записи, а также выяснить, вместо кого из клиентов приходили их друзья, родственники и знакомые...

– Безусловно, – покладисто кивнул Бертран. – Сделать что-то в этом роде возможно. Но ведь никаких доказательств нет! И быть не может. Во-первых, в префектуре полиции того округа, где находится его фирма, у него есть свой человек – его приятель и кузен Гизо, который, как я предполагаю, держит Шершнева в курсе всех планируемых против него проверок. Кроме того, в уничтожении доказательств Шершневы вообще знают толк!

– Их что, там несколько? – удивилась Алёна.

– Ваш спаситель – третий из династии. Все они носят одно и то же имя. Основателем считается дед теперешнего Никиты, затем к делам подключился его отец, однако он умер, едва дожив до пятидесяти, нынешнему владельцу фирмы сорок пять...

«Ага!» – многозначительно подумала Алёна.

Ни к чему особенному это «ага», строго говоря, отношения не имело. Ну подумаешь – сорок пять, ну подумаешь – на пять лет больше, чем тебе самой, ну подумаешь, выглядит моложе... Ты же в последнее время ударяла по младшему поколению, подруга! Последнему предмету твоих вздохов сколько? Двадцать пять! Для тебя сорок пять – это ведь просто дед!

Кстати, только что было упомянуто о каком-то деде...

– А почему вы сказали: основателем считается его дед? Что значит – считается? А кто был этим основателем в действительности?

– Насколько мне известно, фирму «Passeur» зарегистрировала в 1922 году некая русская дама, эмигрантка. Фамилию ее не помню, однако она у меня где-то записана. Зарегистрировать-то она ее зарегистрировала, но, такое впечатление, чего-то со своим компаньоном, первым Шершневым, не поделила. Дама эта внезапно скончалась... угадайте от чего? Ну да, от сердечного спазма. Ее муж спустя какое-то время разделил ее участь. Очевидно, имел неосторожность высказать Шершневу какие-то подозрения. Беда в том, что оба эти дела остались на уровне подозрений, сведения о них у меня только из газет того времени – сведения весьма противоречивые! Подозрения падали на мужа той дамы, потом, как я уже сказал, он тоже умер... У Шершнева имелось алиби, дочь супруга, она же падчерица убитой дамы, никаких претензий к нему не высказывала...

– Ага! – возбужденно воскликнула Алёна. – А может быть, эта дочь и была заинтересованным лицом, которое побудило первого Никиту организовать то убийство? Мечтала о наследстве, к примеру...

– Такая мысль мне тоже приходила в голову, – кивнул Бертран. – Дело осложняется тем, что к тому времени эта особа уже вышла замуж за очень богатого человека. Правда, причины для убийства могут быть не обязательно материальные, однако, судя по прессе, мадам Викки Ламартин (именно так звали дочь) была вообще вне подозрений. Очень возможно, что она и впрямь не имела к смерти своих родственников ни прямого, ни косвенного отношения. А вот что в этом не был замешан первый Никита... плохо верится!

– Да бог с ним, с первым Никитой, – отмахнулась Алёна. – Как же третьего-то вывести на чистую воду?

– Единственным способом, – зеленые глаза Бертрана алчно сверкнули. – Получить доступ в его офис, к его бумагам. Установить, кто находится в настоящее время в числе его клиентов, а потом проверить каждого – на предмет родственных связей, на предмет выгоды, которую каждый из родственников или знакомых будет иметь от смерти этого человека. Работа совершенно безумная, огромная работа, и какому-то частному детективу она, конечно, не под силу, тут нужен размах, нужны люди, помощники. Если бы мне в руки случайно попал какой-то компромат, однако на случай надеяться – это уж последнее дело! – Он вдруг ахнул, взглянув на часы: – Мон Дье, мне пора! Жене нужны лекарства в виде детективов!

И начался неизбежный обряд целования. Французы беспрестанно целуются, надо или нет, по поводу и без повода, однако при встрече и прощании – непременно, четырехкратно. Ничего эти поцелуи совершенно не значат – так, милая любезность, не более чем обычай, иногда приятный, иногда нет. К примеру, приходящая горничная в доме Мориса и Марины – негритянка. Но ведь и с ней приходится целоваться, хоть умри!

С другой стороны, если бы Алёна встретила с киллером Шершневым где-нибудь в гостях, им бы тоже пришлось обменяться милыми поцелуйчиками... Чем плохо?

Тем временем обряд завершился. Бертран ринулся к двери, однако на пороге обернулся:

– Кстати, Алёна... если вам для нового романа понадобится интервью с французским частным детективом, охотно окажу вам такую любезность. Мой офис здесь в двух шагах!

И он сунул Алёне свою визитку.

Пока Марина и Морис провожали гостя, Алёна успела бросить на визитку вороватый взгляд. Кроме имени, адреса и телефона, там было приписано по-русски: «Позвоните! Есть важное дело!»

Алёна, прочитав это, только головой покачала.

Правда что – типичный француз. Уже и свиданку красивой девушке назначил! И когда только успел написать?! Хорошо, что Марина не видела этого. Ох уж эти мужчины!!! Похоже, не так-то уж и повезло Марине с бо фрэром, а ее сестре Катерине – с законным супругом!

Франция, Париж, 80-е годы XX века.

Из записок

Викки Ламартин-Гренгуар

Очень уютную и нарядную дачу, где мы в Финляндии были в карантине, держала финская владелица, а дочь ее была замужем за русским морским офицером. Фамилия его была, если теперь ничего не путаю, Мошков, а как звали финскую хозяйку, разумеется, по истечении стольких лет мне не вспомнить, да и не велика беда – пусть будут все Мошковы. У них в ту пору стояло много русских, были даже офицеры Юденича, которые попали сюда после провала своего похода и еще не получили новых документов на жительство в Европе.

У них были затравленные лица: ведь все вновь прибывшие из Петрограда сразу начинали спрашивать их, почему они не сумели взять города, почему повернули назад, хотя были уже почти у Нарвской заставы, ведь до нее оставалось лишь несколько переулков? Никто их не укорял, но в вопросах и ответах звучали отголоски горьких, непролитых слез, и офицеры объяснялись с таким выражением, как будто оправдывались на суде. Верно, они чувствовали себя виноватыми. Они говорили, что ждали хоть одного выстрела в городе, который дал бы знать о петроградском восстании в их поддержку, хоть какого-то сигнала. Но его так и не прозвучало. Они решили, что не встретят помощи, к тому же их сбил с ног внезапный – за пятьдесят километров от города! – уход назад англичан вместе с их танками. Разведка не была поставлена, связи с Петроградом ни у англичан, ни у Юденича не было: не знали они, что от этих танков петроградский гарнизон во главе с Троцким панически бежал, и кабы сыскалось у офицеров больше решимости и отчаяния умереть...

Видимо, Бог вовсе отвернулся от России: это я тогда говорила и говорю теперь.

А впрочем, довольно об этом. Я ведь не исторические хроники веду, а краткие записки своей жизни и своей любви...

На даче Мошковых было очень приятно и хорошо: тепло, чисто, даже обед можно было выбирать, заказывать – пусть и скромный, ведь кормили нас даром, то есть на деньги финского правительства и Русского комитета, – но все же это была нормальная еда, а не совдеповские унижительные помои. Впрочем, можно было даже кое-что покупать себе в лавках Териоки: Никита сразу дал мне около трех тысяч финских крон, которые поручил ему мой отец. Но мне ничего не хотелось – ни вещей новых, которые здесь были до крайности безвкусны, ни еды: меня тошнило при виде масла и мяса, которых я перед уходом из Петрограда переела, а пуще всего тоска меня брала, такая тоска! Мучили две мысли, первая: я навеки покинула Россию, Петербург... Я во сне видела наш дом на Кировной улице, Волгу видела, Нижний Новгород, который я всегда любила, Сормово, где мы жили, когда отец директорствовал там, а уж бабушкины-то Новики меня в воспоминаниях доводили до слез... А вторая мысль была о том, что я умру от любви к Никите, если мне не удастся завладеть им.

Повторюсь: на даче было много приятных мужчин, и по их взглядам я могла видеть, что нравлюсь. Молодость брала свое (эх, эх, давненько я не употребляла этих слов, все больше бормочу теперь: старость – нет, не люблю так говорить, предпочитаю говорить «возраст», хотя от перемены мест слагаемых сумма не меняется! – возраст-де свое берет!), я снова стала выглядеть как раньше и охотно танцевала с офицерами на втором этаже, в музыкальном полутемном салоне, где на стене висел только один канделябр, но стоял замечательный Стейнвей, и знаменитый пианист Соловьев каждый вечер с восторгом играл на нем вальсы Штрауса, душу отводил, потому что в Петрограде у него не было рояля – отчего-то большевики его сразу у Соловьева реквизировали, да еще и расстрелом пригрозили, как если бы его Стейнвей (у него тоже был прежде инструмент этой фирмы) был чем-то опасен для их режима. Впрочем, в Европе

в то время уже танцевали другие танцы, в России вовсе неизвестные, под синкопированную музыку, танго меня очаровало, мне от этих мелодий плакать хотелось... любовь уничтожала меня.

Мы танцевали с Корсаком, но хоть он и выглядел гибким и стройным, а танцевал плохо, вечно путал фигуры... как-то раз обмолвился, что танцев не любит, но нарочно выучился, чтобы не отстать от Никиты, который, как выразился Корсак почти с негодованием, «ловок в этом, словно наемный танцор в кабаке».

Похоже, Никита был одинаково «ловок» во всем, за что ни брался!

Самого его я видела мало: он крутился между дачей и Гельсингфорсом, где находился Русский комитет, хлопотал о наших документах. Мне и Корсаку он посоветовал быть осторожней в новых знакомствах: Финляндия в то время была местом пересечения нескольких европейских разведок, в том числе и русских, белогвардейских, да и красные тоже начали устанавливать какие-то шпионские связи... Короче говоря, очень просто можно было попасть в неприятную историю, поэтому мы с Корсаком много времени проводили вместе, гуляли, катались на лыжах, болтали. Мне хотелось как можно больше узнать о Никите, я постоянно пыталась наводить разговор на эту единственную интересующую меня тему, но Корсак говорил о нем скупой и неприязненно, хотя дружили-то они с детства. Не скоро я поняла, что Корсак друга своего именно что с детства ненавидел и завидовал ему, причем чем дальше, тем больше. Он был из тех людей, которым добра нельзя делать – это их унижает, они потом мстят своим благодетелям за унижение. Никита, наверное, все понимал, он ведь был очень проницателен, несмотря на молодость свою, слишком много повидал и перестрадал, слишком много узнал о людях, да и любовь к такой женщине, как моя мачеха, заставила его духовно повзрослеть (это я уж потом, гораздо позже поняла, когда увидела их вместе и поняла их отношения), однако он всегда был прежде всего человеком долга, дружбу воспринимал тоже как исполнение некоего долга, оттого и спас Корсака, оттого и возился с ним.

Единственное, о чем Корсак рассказывал мне много и охотно, это о любовных похождениях Никиты. По его словам выходило, что такого ловеласа свет не видывал! Потом я узнала, что это было вранье: да, Никита многих женщин сводил с ума, но сам хранил нерушимую верность своей Прекрасной Даме. Хорошо, что я этого тогда не знала, иначе бы вовсе умерла от горя. А в ту пору я рассуждала враз и умно, и глупо: когда у мужчины много женщин, значит, у него никого нет, а вот когда одна – это уже хуже... У меня оставалась надежда стать для него хотя бы одной из многих – для начала, а потом сделаться единственной.

Я уже поняла, что первого шага от него не дождусь, значит, придется действовать самой. Гордости у меня к тому времени вовсе никакой не осталось, любовное томление всю ее изнурило. Искала я только случая, чтобы застать Никиту врасплох, ждала его приезда. И вот он примчался на дачу – оживленный, радостный, непривычно улыбчивый – и сообщил, что наши визы будут готовы через неделю после Нового года.

Мы все спохватились: да ведь завтра Новый год! Конечно, речь шла о европейском празднике, по новому стилю. Его и большевики установили в России, да кто из нас их установления раньше принимал всерьез? Все и 18-й, и 19-й встречали по-старому, что выходило 13 января нового стиля. Но теперь мы жили в Европе, приходилось применяться к другим порядкам. Впрочем, все русские увидели в этом только возможность отпраздновать Новый год дважды: и по-новому, и по-старому.

В Финляндии в то время был уже сухой закон, ничего нигде нельзя было купить; правда, Никита чудом раздобыл в Териоках какого-то алкоголя, неизвестного ранее науке, да и у Мошкова, как у всякого моряка, пусть и бывшего, имелся «в капитанской каюте» некоторый припас и рому, и коньяку, и вина белого, и водки смирновской. Увы, шампанского нельзя было достать ни за какие деньги, мы очень этим сокрушались, особенно я, потому что пить вообще не умела и не любила, знала только праздничное шампанское. И вдруг, когда мы все наши напитки враз

откупорили и начали разливать по бокалам, чтобы выпить за встречу Нового года и за исполнение желаний, оказалось, что принесенное Никитой финское питье очень напоминает шампанское: во всяком случае, оно выстрелило пробкой в потолок, облило нас пенистой струей и заиграло в бокалах.

При виде этой игры невероятное счастье меня охватило. Нетрудно догадаться, исполнения какой мечты я себе пожелала, и это внезапно возникшее «шампанское» стало для меня как бы пророчеством, что возможно даже невозможное. А на деле в бутылке оказалось не шампанское, конечно, а какое-то жуткое пойло, чуть ли не самодельное, и оно вмиг ударило мне в голову. Совершенно ничего не помню из той вечеринки... промельки какие-то остались...

Вот Соловьев за Стейнвеем... музыка, музыка, музыка... «Adios, rampa mia!» – прекрасное танго, я его на всю жизнь запомнила. «Прощай, моя родина!» – для нас, для русских, это название исполнялось особым смыслом, однако в музыке этой было что-то невероятно любовное, страстное...

Вот я танцую танго с Корсаком, и он сильно, грубо прижимает меня к себе, а я хохочу и отстраняюсь... Вот я танцую с Никитой – он и впрямь двигается легко, ведет меня умело, даже и фигур можно не знать, чтобы следовать за ним, нужно только его слушаться, что я и делаю. «Adios... adios, rampa mia!» Видимо, у нас хорошо получается, слаженно, поэтому нам аплодируют зрители – все, кроме Корсака. Я танцую с Никитой и прижимаюсь к нему, и теперь уже осторожно отстраняется он... Потом я танцую с Мошковым, но тут уж никто ни к кому не прижимается – он просто смотрит на меня с тревогой и говорит с отеческой лаской в голосе: «Ох, милая девочка, не натворите бед! Идите-ка вы лучше спать!»

Это показалось мне наилучшим из всех советов в мире.

– Отлично, я иду спать! – остановилась я посреди танца. – Покойной всем ночи!

И не успел никто и слова сказать, не успели как-то меня остановить, а я уж выскочила из залы и вихрем понеслась в свою комнату. Там мигом стащила с себя платье: оно было из новых, купленных уже здесь, в Финляндии, страшненькое какое-то, но мне тогда, помню, к лицу было все, что ни надену (ну совершенно по Пушкину: а девушке в восемнадцать лет какая шапка не пристанет?!), это и определило мою дальнейшую судьбу в Париже, к слову сказать...

Итак, я разделась, завернулась в халат – между прочим, тот самый, спасительный, маскировочный, купальный, в котором я переходила Финский залив; теперь, отстиранный, отпаренный, он сел, в размерах уменьшился и, за неимением лучшего, служил мне пеньюаром – и, словно призрак, понеслась по коридору к той комнате, в которой жил Никита. Во время своих приездов он делил эту комнату с Корсаком, но о его существовании в те минуты я вовсе забыла, думала только: вот комната Никиты, здесь я его дождусь, нынче он от меня не сможет отстраниться. Я хотела лечь в его постель и дожидаться там, я была убеждена, что он не устоит, увидев меня, а если понадобится бы, я готова была его силой взять... или умолять на коленях... Теперь нужно было только терпения набраться, чтобы не умереть в ожидании его.

Ну, вот и дверь. Меня вдруг ударило ужасом: а что, если заперто? Что тогда? Весь мой план рухнет!

Наверное, окажись дверь заперта, я бы ее выломала, ей-богу, в таком страшном жару горела, в таком чаду были мои мысли и чувства. Но дверь легко отворилась, я влетела внутрь, мельком удивившись, что в комнате светло, – и увидела Никиту, но не в старом пиджаке, в каком он был на вечеринке, а уже в короткой бекеше, словно готового куда-то идти – гулять, как решила я.

Никита уставился на меня и недоумевающе моргнул. Впервые я увидела выражение растерянности на этом непроницаемом лице... В следующее мгновение я уже ничего больше не видела, потому что кинулась к нему на шею, прильнула, обвила вокруг него и принялась целовать, отчаянно шепча:

– Любимый мой, любимый... Любимый мой! Не уходи, останься со мной, возьми меня, возьми меня! Я люблю тебя!

Ну уж, конечно, теперь я не могу вспомнить дословно, что тогда шептала, – но что же еще, какие бы еще слова пришли в мою глупую, воспаленную голову?

Я шептала снова и снова, целовала горячее и горячее, однако постепенно стала соображать, что на поцелуи мои никто не отвечает, ничьи руки вокруг меня не сжимаются, что Никита не только не тащит меня в постель, но и вообще стоит недвижимо, а дыхание его так легко и спокойно, как если бы перед ним была не полуобнаженная и весьма красивая (без ложной скромности!) влюбленная девушка, а... ну, не знаю кто, безногий финн из нарядной избушки, его агент, к примеру!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.